VISIT…

О. В. Творогов

Литература Древней Руси

Пособие для учителя

М.: Просвещение, 1981. — 128 с.

Оглавление

К читателю. ***Д. С. Лихачев***
Введение
Возникновение русской литературы
- Хроники
- «Александрия»
- «Житие Евстафия Плакиды»
- Апокрифы
- Патристика

Литература Киевской Руси (XI-XII вв.)
- «Повесть временных лет»
- «Чтение о Борисе и Глебе»
- «Житие Феодосия Печерского»
- «Слово о полку Игореве»
- Проблема датировки «Слова» и его подлинности
- Время и цель создания «Слова о полку Игореве»
- Жанр «Слова о полку Игореве»

Повести XIII-XV вв. о борьбе с монголо-татарским игом
- Летописная повесть о битве на Калке
- «Повесть о разорении Рязани Батыем»
- «Задонщина»
- «Сказание о Мамаевом побоище»

Литература XV в.
- Епифаний Премудрый
- Пахомий Логофет
- «Сербская Александрия»
- Повести о Троянской войне
- «Житие Михаила Клопского»
- «Повесть о Дракуле»
- «Повесть о Басарге»

Литература XVI в.
- «Русский хронограф»
- «Великие минеи-четьи»
- «Казанская история»
- «Повесть о Петре и Февронии»

Литература XVII в.
- «Повесть о Тверском Отроче монастыре»

- «Повесть о Савве Грудцыне»
- «Повесть о Шемякином суде»
- «Повесть о Фроле Скобееве»
- Силлабическая поэзия XVII в. Симеон Полоцкий
- «Житие» протопопа Аввакума
Заключение

К читателю

Появление литературы в жизни народа решительно меняет его историческое и нравственное самосознание.

Первые исторические произведения позволяют народу осознать себя в историческом процессе, задуматься над своей ролью в мировой истории, понять корни событий современности и свою ответственность перед будущим.

Первые нравственные сочинения, сочинения общественно-политические, уточняют социальные нормы поведения, позволяют шире распространять идеи ответственности каждого за судьбу народа и страны, воспитывают патриотизм и одновременно уважение к другим народам.

Законен вопрос: могла ли роль литературы быть столь значительной при крайней нераспространенности самой грамотности? Ответ на этот вопрос не может быть однозначен и прост.

Во-первых, число грамотного населения во всех слоях общества в XI-XVII вв. вовсе не было столь малым, как это представлялось в XIX в.

Открытие берестяных грамот отчетливо продемонстрировало наличие грамотных крестьян, грамотных ремесленников, не говоря уже о грамотных купцах и боярах. Что духовенство было в основном грамотным, сомневаться не приходится. Степень грамотности населения зависит от уровня его благосостояния. Рост закрепощения крестьян вел к падению грамотности. Поэтому в XVI в. число грамотных могло быть меньше, чем в XIV и XV вв. На эту возможность указывают многие признаки. Во-вторых, влияние литературы сказывалось не только в грамотных слоях населения. Было распространено чтение вслух. На это указывают и некоторые монастырские обычаи, и самый текст древнерусских произведений, рассчитанный на устное воспроизведение. Если учесть, что наиболее грамотные люди обладали и наибольшим общественным авторитетом, то ясно, что влияние литературы на общественную жизнь народа было далеко не малым. Множество фактов, крупных и мелких, подтверждает это влияние. Вот почему князья и цари сами берутся за перо или поддерживают книжников, летописцев, переписчиков, побуждают к написанию произведений и их распространению. Вспомним Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого, Ивана Грозного или царя Алексея Михайловича.

Литература стала частью русской истории — и частью чрезвычайно важной.

Какое же значение имеет древняя литература для нас? Понятно, что мы должны учитывать ее роль в прошлом, но зачем нам ее изучать сейчас? Актуальна ли литература Древней Руси?

Да, актуальна — и еще как! Памятники культуры и истории, охране которых уделяют сейчас такое внимание наша Партия и Правительство, будут молчать без памятников письменности, и прежде всего без памятников литературы, которая в Древней Руси была в

основном и исторической, и нравственно-учительной, а в совокупности этих двух основных тенденций древнерусской литературы — высоко патриотической.

Время «симметрично», а особенно время истории. Забота о прошлом — это забота о будущем. Мы храним прошлое для будущего. Мы способны далеко заглянуть в будущее, если только умеем глядеть в прошлое. Любой современный опыт есть одновременно и опыт истории. Чем яснее мы видим прошлое, тем четче прозреваем будущее.

Корни современности глубоко уходят в родную почву. Наша современность огромна, и она требует поэтому особой заботы о корнях нашей культуры. Нравственное сознание людей требует нравственной же оседлости, мы должны знать нашу историю, прошлое нашей культуры, чтобы осознавать связи между людьми своего народа, между различными народами, чувствовать свою «укорененность» в своей Родине, не быть травой без корней — перекати-поле.

И наконец, самое главное. Чтобы понять богатство идей современной литературы, великой гуманистической русской литературы XIX и XX вв., ее высокие идеалы и высокое мастерство, знание древнерусской литературы совершенно необходимо. Богатство русского языка — итог почти тысячелетнего развития русской литературы.

И уже в древней русской литературе мы находим произведения изумительные по точности и выразительности своего языка. Уже в древней русской литературе мы находим высоконравственные идеи — идеи, не утратившие своего значения и для нас, идеи глубокого патриотизма, сознания высокого гражданского долга. И они выражены с такой силой, на какую был способен только великий народ — народ громадного духовного потенциала.

В древней русской литературе мы находим произведения, чтение которых доставляет нам удовлетворение одновременно нравственное и эстетическое. В Древней Руси была красота нравственной глубины, нравственной тонкости и одновременно нравственной мощи.

Корни творчества Пушкина, Державина, Толстого, Некрасова, Горького и многих, многих великих и малых русских писателей не случайно восходят к древнейшим слоям русской литературы.

Приобщиться к древней русской литературе — великое счастье и великая радость.

Лежащая сейчас перед читателем книга доктора филологических наук Олега Викторовича Творогова, счастливо соединяющего в своем лице замечательного специалиста по древней русской литературе со специалистом по истории русского языка, дает яркое представление о значении и неувядаемой красоте русской литературы первых семи веков ее существования.

Книга эта тем более актуальна, что в восьмидесятых годах мы будем широко отмечать тысячелетие русской литературы.

От всей души желаю читателю этой книги радостных и полезных часов приобщения к миру древнерусской культуры.

Академик *Д. С. Лихачев*

ВВЕДЕНИЕ

Знакомясь с литературными памятниками Древней Руси, современный читатель без особого труда заметит их отличия от произведений литературы нового времени: это и отсутствие детально разработанных характеров персонажей, это и скупость подробностей в описании внешности героев, окружающей их обстановки, пейзажа, это и психологическая немотивированность поступков, и «безликость» реплик, которые могут быть переданы

любому герою произведения, так как в них не отражается индивидуальность говорящего, это и «неискренность» монологов с обилием традиционных «общих мест» — отвлеченных рассуждений на богословские или моральные темы, с непомерной патетикой или экспрессией.

Все эти особенности проще всего было бы объяснить ученическим характером древнерусской литературы, видеть в них всего лишь результат того, что писатели средневековья еще не овладели «механизмом» сюжетного построения, который в общих чертах известен сейчас каждому пишущему и каждому читателю.

Все это справедливо лишь в какой-то степени. Литература непрестанно развивается. Расширяется и обогащается арсенал художественных приемов. Каждый писатель в своем творчестве опирается на опыт и достижения своих предшественников. Однако не в этом «неумении» кроется причина тех особенностей манеры повествования, которая дает о себе знать в произведениях литературы Древней Руси.

Прежде всего предположению о незрелости литературного мастерства писателей русского средневековья противоречит тот несомненный факт, что в той же самой литературе мы встретим немало подлинных шедевров. Разве не восхищает нас, современных читателей, слог и стиль «Слова о полку Игореве», или отдельных мест русской летописи, или «прелесть простоты и вымысла» легенд о монахах Киево-Печерского монастыря, отмеченная еще А. С. Пушкиным[1][1]? Когда читатель-неспециалист преодолевает языковый барьер — непонятность древнерусской лексики и необычность грамматического строя — и вчитывается, например, в текст торжественных «слов» писателя XII в. Кирилла Туровского или в текст «Жития Бориса и Глеба», то он не может не заметить, что перед ним высокое искусство слова, что слогу древнерусских писателей присуща особая эмоциональная выразительность, что они чувствовали и умело использовали ритм речи, создавали сложный «рисунок» в построении фразы и целого речевого периода.

Вот один из примеров. В Ипатьевской летописи рассказывается о герое «Слова о полку Игореве» — князе Игоре Святославиче. Дружина Игоря окружена половецкими полками, он сам схвачен половцами. И князь горестно восклицает: «Где ныне возлюбленый мой брат? Где ныне брата моего сын? Где чадо рожения моего (рожденное мною дитя, то есть сын Игоря — Владимир. — *О.Т.*)? Где бояре думающей? Где мужи храборьствующеи? Где ряд полъчный (строй полков)? Где кони и оружья многоценьная? Не ото всего ли того обнажихся!» (Ипатьевская летопись под 1185 г.).

Мы понимаем, что пространный монолог Игоря, небольшой отрывок из которого приведен выше, не документален, он сочинен летописцем и лишь в какой-то мере передает действительное душевное состояние князя, на глазах которого гибнет его дружина, смертельной опасности подвергаются близкие — брат, племянник, сын. Да, монолог этот и психологически не очень достоверен: это слишком правильная, слишком олитературенная внутренняя речь героя, к тому же произносимая им в разгар боя. Но как это сделано! Этот анафорический ряд (то есть ряд фраз, начинающихся одинаково — словом «где»), этот параллелизм конструкций («бояре думающей», «мужи храборьствующеи», «ряд полъчный», «кони и оружья многоценьная») и этот обобщающий аккорд, которым завершается ряд риторических вопросов: «не ото всего ли того обнажихся!»— разве это не искусство слова? А как емки эпитеты: «бояре думающей», то есть те, с которыми Игорь постоянно советуется, те, которые вместе с князем «думают» об устройстве своего княжества. «Мужи храборьствующеи» — не просто «храбрые», а те, для кого храбрость в бою является постоянным, определяющим их качеством.

Этот небольшой пример показывает, что речь должна идти не о неумении, неопытности авторов, не о незрелости литературы того времени, а об отличиях литературных систем, о специфике древнерусской литературы, специфике, которая и определяет эти отличия.

1

Прежде всего нужно учесть, что средневековые христианские литературы развивались в совершенно особых условиях, обладали иными, сравнительно с литературами нового времени, функциями и ставили перед собой иные задачи.

Приняв христианство, Древняя Русь одновременно получила и письменность и литературу. Об этом процессе приобщения Руси к христианской книжности Византии и Болгарии речь пойдет дальше. Сейчас же отметим лишь следующее. Древнерусские книжники оказались перед лицом сложнейшей задачи: нужно было в возможно кратчайший срок обеспечить создаваемые на Руси церкви и монастыри необходимыми для богослужения книгами, нужно было ознакомить новообращенных христиан с христианской догматикой, с основами христианской морали, с христианской историографией в самом широком смысле этого слова: и с историей Вселенной, народов и государств, и с историей церкви, и, наконец, с историей жизни христианских подвижников. Необходимо было рассказать о том, как — с христианской точки зрения — устроен мир, объяснить *смысл* целесообразно и мудро «устроенной богом» природы. Словом, нужно было незамедлительно создавать литературу, посвященную сложнейшим мировоззренческим вопросам. Книги, привезенные из Болгарии, не могли обеспечить все эти разносторонние потребности молодого христианского государства, и, следовательно, нужно было переводить, переписывать, размножать произведения христианской литературы. Вся энергия, все силы, все время древнерусских книжников на первых порах были поглощены выполнением этих первоочередных задач. Процесс письма был длительным, материал письма (пергамен) дорогим, и это не только делало каждый книжный фолиант трудоемким, но и придавало ему особый ореол ценности и значительности. Литература воспринималась как нечто очень важное, серьезное, предназначенное обслуживать наиболее высокие духовные потребности.

Обстоятельства возникновения древнерусской литературы, ее место и функции в жизни общества определили систему ее исходных жанров, то есть тех жанров, в рамках которых началось развитие оригинальной русской литературы. На первых порах, по выразительному определению Д. С. Лихачева, это была литература «одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни»[2][2]. И действительно, этой теме и этому сюжету были посвящены все жанры древнерусской литературы, особенно если говорить о литературе раннего средневековья.

Об истории мира рассказывали хроники и хронографы, об истории Руси — летописи, об отдельных важнейших событиях русской и мировой истории — повести (обычно включавшиеся в состав тех же летописей или хронографов). О древнейшем периоде «истории» в ее богословской интерпретации рассказывали библейские книги и излагавшие их с толкованиями и рассуждениями палеи (от греч. *палайос* — древний).

Существовала обширная литература нравоучительных биографий — жития святых, то есть христианских подвижников, либо прославившихся своим благочестием и аскетизмом, либо погибших за свои религиозные убеждения от руки язычников или иноверцев. Большое распространение имели также сборники коротких, обычно остросюжетных рассказов из жизни монахов какой-либо обители — монастыря или скита; такие сборники именовались патериками.

Жанры торжественного и учительного красноречия представлены различными поучениями и «словами». В торжественных словах, произносимых в церкви во время службы, прославлялись христианские праздники, раскрывался смысл или символика тех или иных эпизодов и образов Священного писания. В поучениях обличались пороки, прославлялись добродетели, верующие наставлялись в основах христианской морали[3][3].

Существовали и различные догматические сочинения, трактовавшие сложнейшие богословские вопросы, обличавшие ереси — учения и взгляды, противоречившие официальной христианской догматике или основам христианского мировоззрения.

2

3

В хождениях рассказывалось о путешествиях в «Святую землю» — в Палестину. Эта «географическая литература» приобретала, таким образом, также особый, нравоучительный смысл: авторы хождений — паломники[4][4] — обычно излагали библейские предания, связанные с тем или иным городом или районом, но, кроме того, в той или иной степени выходили и за рамки собственно путеводителя по святым достопримечательностям, описывали архитектурные сооружения, природу, местные обычаи.

В этом перечне основных жанров древнерусской литературы старшего периода (XI-XIV вв.) мы не встретим ведущих жанров литературы нового времени: ни бытового романа или повести, изображающих частную жизнь частного человека, ни поэзии — лирической или гражданской, ни драматургии. Некоторые из этих жанров появятся в древнерусской литературе, но значительно позднее — в XV или даже XVII в.

Значит ли это, что древнерусского читателя интересовали только мировоззренческие проблемы, что духовный мир человека раннего средневековья был иным и кардинальнейшим образом отличался от духовного мира человека XVIII или XIX в.? Отличия, разумеется, были, но дело совсем не в этом. Дело в том, что эти духовные запросы удовлетворялись не литературой, а фольклором. Люди Древней Руси знали и бытовой рассказ-анекдот, и любовную песню, и сказку, и легенду, и богатырский эпос, в котором важнейшим компонентом могла быть и тема любовных похождений героя, добывания невесты и т. д.[5][5]. Но все эти жанры бытовали в устной форме, дополняя литературу в эстетическом кругозоре людей того времени, дополняя ее, но не конкурируя с ней. Записывать широко распространенные, всем доступные и известные произведения устной словесности на дорогом пергамене, усилиями немногочисленных и чрезвычайно загруженных другими задачами книжников, было также нерационально, как записывать или перепечатывать на машинке описание происшествия; о котором вы можете без труда лично поведать своему знакомому или соседу. Наличие древнерусского фольклора с его разветвленной системой жанров не вызывает сомнения не только потому, что мы можем реконструировать древний фольклор по поздним, дошедшим до нас его образцам, но и потому, что свидетельства о его существовании сохранили сами древнерусские памятники старшей поры — летописи, жития святых, церковные поучения.

Но вернемся к системе литературных жанров. Она не была специфической для одной только древнерусской литературы. Если мы обратимся к византийской литературе IX-X вв., то там встретим почти те же самые жанры и в тех же самых пропорциях, что и в литературе Древней Руси. Светские жанры — любовный роман и лирическая поэзия — получат в византийской литературе распространение несколько позднее, в XI-XII вв., и нас должно удивить скорее не то, что при строгой и вынужденной избирательности, к которой принуждали русских книжников условия первых веков развития литературы, эти произведения не попали на Русь, а то, что среди переводов старшей поры мы встретим перевод эпической поэмы (или сказания) о Дигенисе Акрите — сугубо светской, романтическо-героической, с любовными коллизиями как одним из важнейших компонентов сюжета.

Говоря о системе жанров древнерусской литературы, необходимо отметить еще одно важнейшее обстоятельство: эта литература долгое время, вплоть до XVII в., не допускала литературного вымысла. Древнерусские авторы писали и читали только о том, что было в действительности: об истории мира, стран, народов, о полководцах и царях древности, о святых подвижниках. Даже передавая откровенные чудеса, они верили в то, что это *могло быть,* что существовали фантастические существа, населяющие неведомые земли, по которым прошел со своими войсками Александр Македонский, что в мраке пещер и келий бесы являлись святым отшельникам, то искушая их в образе блудниц, то устрашая в облике зверей и чудовищ. Рассказывая об исторических событиях, древнерусские авторы могли сообщить разные, порой взаимоисключающие версии: иные говорят так, скажет летописец

4

5

или хронист, а иные — иначе. Но это в их глазах было всего лишь неосведомленностью информаторов, так сказать, заблуждением от незнания, однако мысль, что та или иная версия могла быть просто придумана, сочинена, и тем более сочинена с чисто литературными целями, — такая мысль писателям старшей поры, видимо, казалась неправдоподобной. Это непризнание литературного вымысла также в свою очередь определяло систему жанров, круг предметов и тем, которым могло быть посвящено произведение литературы. Вымышленный герой придет в русскую литературу сравнительно поздно — не ранее XV в., хотя и в то время он долго еще будет маскироваться под героя далекой страны или давнего времени.

Откровенный вымысел допускался лишь в одном жанре — жанре аполога, или притчи. Это был рассказ-миниатюра, каждый из персонажей которого и весь сюжет существовали лишь для того, чтобы наглядно проиллюстрировать какую-либо идею. Это был рассказ-аллегория, и в этом заключался его смысл.

В древнерусской литературе, не знавшей вымысла, историчной в большом или малом, сам мир представал как нечто вечное, универсальное, где и события и поступки людей обусловлены самой системой мироздания, где вечно ведут борьбу силы добра и зла, мир, история которого хорошо известна (ведь для каждого события, упоминаемого в летописи, указывалась точная дата — время, прошедшее от «сотворения мира»!) и даже будущее предначертано: широко распространены были пророчества о конце мира, «втором пришествии» Христа и Страшном суде, ожидающем всех людей земли.

Эта общая мировоззренческая установка не могла не сказаться в стремлении подчинить само изображение мира определенным принципам и правилам, раз и навсегда определить, *что* и *как* следует изображать. Древнерусская литература, как и другие христианские средневековые литературы, подчинена особой литературно-эстетической регламентации — так называемому литературному этикету. Понятие о литературном этикете Древней Руси разработано в исследованиях Д. С. Лихачева. Он отмечает, в частности, что литературный этикет «слагается: 1) из представлений о том, как должен был совершаться тот или иной ход событий; 2) из представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению; 3) из представлений о том, какими словами должен описывать писатель совершающееся. Перед нами, следовательно, этикет миропорядка, этикет поведения и этикет словесный».[6][6]

Наглядно проиллюстрировать осуществление этих принципов литературного этикета поможет нам следующий пример. В житии святого, согласно требованиям этикета, должно было рассказываться о детстве будущего святого, о благочестивых его родителях, о том, как он с младенчества тянулся к церкви, чуждался игр со сверстниками и т. д. Этот сюжетный компонент обязательно присутствовал в житии, при этом он выражался в разных житиях одними и теми же словами: таким образом, существовал не только этикет ситуации (о чем писать), но и этикет выражения (как именно описывать этикетную ситуацию). Вот начальные фразы нескольких житий, принадлежащих разным авторам и написанных в разное время. Феодосий Печерский «душею влеком на любовь божию, и хожаше по вся дьни в цьркъвь божию, послушая божествьных книг с всемь вьниманиемь, еще же и к детьмь играющим не приближашеся, якоже обычай есть уным, н(о) и гнушашеся играм их... К сим же и датися на учение божествьнных книг... И въскоре извыче вся граматикия». Нифонт Новгородский «вдан бывает родительми своими учитися божественным книгам. И абие вскоре никако извыкшу книжное учение, и нимало исхожаше с сверстники своими на игры детьския, но паче прилежаше к церкви божий и въсласть почиташе божественная писания». Варлаам Хутынский «по времяни же вдан бысть учити божественым книгам, темже вскоре некосно [быстро] извыче божественая писания... не убо уклоняющеся на некия игры или позоры [зрелища], но паче на прочитание божественных писаний»[7][7].

6

7

Обратившись к летописям, мы обнаружим там подобную же картину: совпадают текстуально описания битв, из одних и тех же компонентов состоят княжеские характеристики-некрологи или характеристики церковных иерархов.

Но если в творчестве древнерусских книжников столь значительное место отводилось следованию определенным каноническим образцам, то как же обстояло дело с понятием авторства?

Подражание авторитетному писателю, заимствование из его произведений не только образов или отдельных фраз, но и целых фрагментов не было признаком творческого бессилия, напротив, все это свидетельствовало о начитанности, высокой книжной культуре и литературной выучке подражателя. В Древней Руси мы встречаемся с двумя диаметрально противоположными решениями проблемы авторства. С одной стороны, большинство из древнерусских произведений анонимно. Многих удивляет, что мы не знаем имени автора «Слова о полку Игореве», но нам не известны авторы очень многих древнерусских произведений, как вполне рядовых в литературном отношении, так и шедевров, подобных «Сказанию о Мамаевом побоище», «Слову о погибели Русской земли» или «Казанской истории».

С другой стороны, произведения торжественного и учительного красноречия почти всегда авторизованы. Но тут мы встречаемся с не менее странным явлением — обилием так называемых ложно-надписанных памятников. Это значит, что произведение в рукописной традиции приписывается какому-либо авторитетному богослову или проповеднику, хотя в действительности его автором является совсем другое лицо.

Авторы житий чаще называют себя в заголовках своих произведений, но, видимо, здесь сказывается не столько стремление отметить свое авторство, сколько удостоверить своим именем, что житие и сопровождающий его обычно рассказ о чудесах изложены самовидцем — сподвижником или учеником святого.

* * *

Познакомившись с явлением литературного этикета и с некоторыми принципами работы книжников XI-XVII вв., мы видим, что многое из того, что можно было бы поспешно отнести на счет «неумения» древнерусских авторов, в действительности является свидетельством совершенно иного — высокой книжной культуры писателей, которые именно в силу своей выученности строили свое повествование согласно канонам литературного этикета, охотно демонстрировали свою начитанность, черпая фрагменты и сюжеты из образцовых произведений, из сочинений классиков византийской и славянских литератур. Летописец трафаретно изображал восшествие князя на престол или битву не потому, что не сумел описать это по-своему, а потому, что считал своим долгом следовать чину, ритуалу, или, как мы говорим, литературному этикету.

Бедность деталями, бытовыми подробностями, стереотипность характеристик, неискренность речей персонажей — все эти черты присущи многим памятникам древнерусской литературы, в том числе и произведениям писателей-профессионалов, среди которых немало подлинно талантливых авторов. И это, как уже говорилось, отнюдь не художественные просчеты. Напротив, эти черты полностью соответствовали позиции древнерусского книжника, его взгляду на литературу как на высокое искусство, призванное повествовать лишь о значительном, о вечном, стремящееся избегать мирских мелочей и бытовых подробностей.

Но нарисованная здесь картина не во всем соответствует действительности: мы изобразили здесь идеал, ту безукоризненно правильную схему, которая объясняет как раз то, что кажется нам в средневековой литературе странным, необычным. Древнерусские книжники были живыми, наблюдательными, а часто и высокоталантливыми людьми, нет-нет да и нарушавшими рассмотренные выше каноны. Именно эти случаи нарушения нам особенно дороги, они привлекают внимание современного читателя, восхищают его. Этим

обмолвкам в свое время было дано терминологическое определение — «реалистические элементы»[8][8]. Встречаясь с этим термином, следует, разумеется, учитывать, что он ни в коей мере не соотносим с термином *реализм,* обозначающим литературное направление. Живые сцены, «сильные детали», то есть подробности, позволяющие создать живую, зримую, убедительную сцену, — все это были не какие-то ростки реализма, приведшие в конце концов к победе реализма как направления в XIX в., а именно аномалии, нарушения основных законов и тенденций средневековой литературы под влиянием живого наблюдения действительности и естественного стремления ее отразить. С этими реалистическими элементами нам придется еще познакомиться при анализе конкретных памятников древнерусской литературы.

Несмотря на важную роль литературного этикета, в значительной мере регламентировавшего литературное творчество, древнерусская литература не была литературой без развития, в которой в течение долгого времени повторялись бы одни и те же темы, образы, литературные штампы. Д. С. Лихачев в книге «Человек в литературе Древней Руси» (М., 1970) показал, как эволюционировали стили древнерусской литературы, как вместе с ними изменялся и сам литературный этикет, его принципы, средства его воплощения. Каждая эпоха обладала своим, доминирующим стилем — то это был стиль монументального историзма XI-XIII вв., то экспрессивно-эмоциональный стиль XIV-XV вв., то произошел возврат к прежнему стилю монументального историзма, но на новой основе — и возник так называемый «стиль второго монументализма», характерный для XVI в.[9][9]

В другой своей работе Д. С. Лихачев рассматривает несколько магистральных направлений развития древнерусской литературы, направлений, подготовивших в конечном счете переход от литературы русского средневековья к литературе нового времени[10][10]. Это возрастание личностного начала в литературе (все более решительное проявление авторского начала, индивидуализация стиля), это расширение социальной среды литературы, то есть социального круга лиц, которые могут стать героями литературных произведений: от святого подвижника или князя в первые века развития русской литературы до кабацких ярыжек (пьяниц), мелкого духовенства, приказного люда, крестьян. Постепенно снижается роль литературного этикета. В частности, это проявляется в том, что вместо этикетного изображения условного характера — своеобразного эталона характера князя, святого, вельможи и т. д. — появляются попытки изображения индивидуальных черт конкретного человека, писатели задумываются над сложностью человеческого характера, над его противоречивостью, изменчивостью в течение времени или в зависимости от обстоятельств.

Правда, здесь необходимо сделать одну оговорку. В. П. Адрианова-Перетц показала, что понимание сложности человеческого характера, тончайших психологических нюансов было присуще средневековой литературе уже на самых ранних этапах ее развития[11][11]. Психологизм проявлялся в учительных словах, моральных сентенциях, отдельных эпизодах летописных рассказов, однако *нормой* изображения и в летописях, и в повестях, и в житиях было все же изображение этикетных, условных характеров в зависимости от социального положения их обладателей.

Увеличение «сектора свободы», как определил это явление Д. С. Лихачев, проявилось также и в том, что писатель стал неизмеримо свободнее в выборе сюжетов или сюжетных ситуаций. В литературу полноправно входит вымысел. Строгая жанровая система, характерная для литературы XI-XVI вв., все более расшатывается; появляются или получают все большее распространение жанры, совершенно не имеющие деловых функций, обильно переписываются произведения народной сатиры, переводные рыцарские романы, нравоучительные, но по сути дела сюжетно занимательные новеллы — *фацеции;* в XVII в. возникают силлабическое стихотворство и драматургия. Словом, в истории развития

8
9
10
11

древнерусской литературы, особенно в литературе XVII в., мы обнаруживаем повсюду тенденции, сближающие средневековую по своему типу литературу с литературой нового времени.

Таковы некоторые основные черты древнерусской литературы XI-XVII вв.

* * *

В этой книге мы наряду с терминами *автор* или *редактор* пользуемся, казалось бы, неопределенным понятием *книжник.* Это не случайно. Применительно к литературе Древней Руси мы очень редко имеем возможность говорить об авторе как создателе произведения и о редакторе как лице, осуществившем его кардинальную переработку: имена и тех и других чаще всего остаются нам неизвестными. Но зато мы достаточно хорошо знаем, как именно работали безымянные древнерусские книжники. *Книжником* мы называем человека, причастного к истории литературного текста. По основной функции своей он — переписчик; ведь книгопечатание появилось лишь в XVI в., было весьма скромно по своим масштабам и весьма ограничено по тематике издаваемых книг; основным способом «публикации» древнерусских литературных памятников вплоть до конца XVII в. (а в какой-то части и в XVIII в.) оставалась их переписка.

Если переписываемый текст не был освящен особым авторитетом, то есть если это не был текст Священного писания, богослужебная книга или хроника, книжник редко оставался просто переписчиком, он, как правило, подходил к переписываемому тексту творчески, в той или иной степени изменяя его. Иногда такие изменения носили весьма ограниченный характер: переписчик заменял отдельные слова, менял их местами, пропускал или добавлял союзы и частицы, исправлял отдельные неясные или испорченные чтения, но чаще всего перед нами — результат более серьезной творческой работы: перерабатывал текст своих источников летописец; создавал новый компилятивный (то есть составленный из разных источников) текст книжник, работавший над хроникой; осуществлялись коренные стилистические переработки житий, в повестях книжники изменяли сюжетные детали, добавляли или опускали реплики персонажей и т. д. В результате, обратившись к любому древнерусскому памятнику, представленному несколькими списками (а иногда десятками и сотнями списков), исследователь, как правило, убеждается, что среди них нет и двух совершенно идентичных по тексту; есть лишь списки, сильно отличающиеся друг от друга, и списки более сходные. Поэтому нам приходится начинать изучение любого произведения с классификации его списков, распределения их по степени сходства, на редакции, виды, группы. Затем исследователь стремится реконструировать историю текста, то есть установить, в какой группе текстов в наилучшей степени отразился первоначальный, авторский текст, как относятся к этой исходной группе другие редакции и виды, чем было обусловлено изменение текста. Совершенно ясно, что мы имеем дело не просто с непроизвольной порчей текста при переписке (такие случаи есть, но не они определяют историю текста произведения), а с совершенно сознательными изменениями текста под пером отдельных книжников, соединявших в одном лице и переписчика, и редактора. Изучение истории текста древнерусских литературных памятников составляет предмет особой научной дисциплины — *текстологии*[12] *[12].*

Изучая любой древнерусский памятник, исследователь должен собрать и изучить *все* его сохранившиеся списки. Поэтому исследователь-древник (как часто называют специалистов по древнерусской литературе) самым тесным образом связан с хранилищами рукописей. Там его основное рабочее место, там он разыскивает списки интересующего его произведения, исследует их, классифицирует, готовит памятник к публикации или описывает его содержание, изучает историю текста. Несмотря на все невзгоды, которые претерпела древнерусская книжность в течение многовековой своей истории, несмотря на гибель тысяч рукописей во время войн, пожаров, стихийных бедствий, уничтожения древних

12

фолиантов невежественными владельцами (к сожалению, и такие случаи известны!), несмотря на все эти неблагоприятные факторы, до нас дошло несколько сотен тысяч древнерусских рукописных книг.

Крупнейшими собраниями древнерусских рукописей обладает Государственная библиотека им. В. И. Ленина и Отдел рукописей Государственного исторического музея в Москве, Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Государственная библиотека Академии наук СССР в Ленинграде, а также другие библиотеки и архивы Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Калинина, Ярославля, Киева и других городов нашей страны.

Каждый год в разные концы страны отправляются экспедиции археографов, которые собирают для государственных хранилищ древнерусские рукописи, спасая их от гибели или забвения (если они хранятся у лиц, не умеющих читать древнерусские тексты, или коллекционеров, хранящих рукописную книгу как ценную диковинку, но не способных и не желающих ее исследовать).

Здесь нельзя не вспомнить о плодотворной деятельности недавно скончавшегося большого энтузиаста и прекрасного организатора археографической работы, доктора филологических наук В. И. Малышева (1911-1976). В результате многолетней экспедиционной работы — поездок за рукописями, в которых принимал участие сам В. И. Малышев, а затем его последователи и ученики, в Институте русской литературы АН СССР в Ленинграде собрано более 7000 рукописей XII-XX вв., которые сейчас интенсивно изучаются специалистами.

Нередко задают вопрос: насколько исчерпаны наши возможности исследования древнерусской литературы? Несмотря на интенсивное изучение древнерусской книжности, особенно активизировавшееся в последние годы, возможности эти еще беспредельны. Каждый год приносит нам не только новые исследования уже известных (хотя бы по названиям) памятников, но и открытия новых, неизвестных еще памятников литературы; среди тысяч рукописей, хранящихся в архивах и библиотеках, многие сотни еще не изучены по составу, не описаны (то есть не указано, какие именно произведения содержит данная рукописная книга). Поэтому новые находки новых памятников и новых списков ценнейших и редчайших памятников древнерусской литературы, будем надеяться, еще впереди.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература возникла на Руси одновременно с принятием христианства. Но интенсивность ее развития неоспоримо свидетельствует о том, что и христианизация страны, и появление письменности определялись прежде всего государственными потребностями. Письменность была необходима во всех сферах государственной и общественной жизни, в междукняжеских и международных отношениях, в юридической практике. Появление письменности стимулировало деятельность переводчиков и переписчиков, а главное — создало возможности для появления оригинальной литературы, как обслуживающей нужды и потребности церкви (поучения, торжественные слова, жития), так и сугубо светской (летописи). Однако совершенно естественно, что в сознании древнерусских людей того времени христианизация и возникновение письменности (литературы) рассматривались как единый процесс. В статье 988 г. древнейшей русской летописи — «Повести временных лет» непосредственно за сообщением о принятии христианства говорится, что киевский князь Владимир, «послав, нача поимати у нарочитые чади [у знатных людей] дети, и даяти нача на ученье книжное». В статье 1037 г., характеризуя деятельность сына Владимира — князя Ярослава, летописец отмечал, что он «книгам прилежа, и почитая е [читая их], часто в нощи и в дне. И собра писце многы и прекладаше от грек на словеньское писмо [переводя с греческого языка]. И списаша книгы многы, имиже поучащеся вернии людье наслажаются

ученья божественаго». Далее летописец приводит своеобразную похвалу книгам: «Велика бо бываеть полза от ученья книжного: книгами бо кажеми и учими есмы пути покаянью [книги наставляют и учат нас покаянию], мудрость бо обретаем и въздержанье от словес книжных. Се бо суть рекы, напаяюще вселеную, се суть исходища [источники] мудрости; книгам бо есть неищетная глубина». С этими словами летописца перекликается первая статья из одного из старейших древнерусских сборников — «Изборника 1076 года»; в ней утверждается, что, подобно тому как корабль не может быть построен без гвоздей, так и праведником нельзя стать, не читая книг, дается совет читать медленно и вдумчиво: не стараться быстро дочитать до конца главы, но задуматься над прочтенным, трижды перечитать одну и ту же главу, пока не постигнешь ее смысла.

Знакомясь с древнерусскими рукописями XI-XIV вв., устанавливая источники, использованные русскими писателями — летописцами, агиографами (авторами житий), авторами торжественных слов или поучений, мы убеждаемся, что в летописи перед нами не отвлеченные декларации о пользе просвещения; в X и первой половине XI в. на Руси была проделана огромная по своим масштабам работа: была переписана с болгарских оригиналов или переведена с греческого огромная литература. В результате древнерусские книжники уже в течение первых двух веков существования своей письменности познакомились со всеми основными жанрами и основными памятниками византийской литературы.

Исследуя историю приобщения Руси к книжности Византии и Болгарии, Д. С. Лихачев указывает на две характерные особенности этого процесса. Во-первых, он отмечает существование особой литературы-посредницы, то есть круга литературных памятников, общих для национальных литератур Византии, Болгарии, Сербии, Руси. Основу этой литературы-посредницы составляла древне-болгарская литература. Впоследствии она стала пополняться и за счет переводов или оригинальных памятников, созданных у западных славян, на Руси, в Сербии. Эта литература-посредница включала книги священного писания, богослужебные книги, сочинения церковных писателей, исторические произведения (хроники), естественнонаучные («Физиолог», «Шестоднев»[13][13]), а также — хотя и в меньшем объеме, чем перечисленные выше жанры, — памятники исторического повествования, например роман об Александре Македонском и повесть о завоевании Иерусалима римским императором Титом. Из этого перечня можно заметить, что большую часть репертуара и самой древнеболгарской литературы и соответственно общеславянской литературы-посредницы составляли переводы с греческого языка, произведения раннехристианской литературы авторов III-VII вв. Необходимо отметить, что любую древнеславянскую литературу нельзя механически делить на оригинальную и переводную: переводная литература была органической частью национальных литератур на раннем этапе их развития.

Более того — ив этом вторая особенность развития литературы X-XII вв. — следует говорить не о влиянии византийской литературы на древнеболгарскую, а этой последней на русскую или сербскую. Речь может идти о своеобразном процессе трансплантации, когда литература как бы целиком переносится на новую почву, но и здесь, как подчеркивает Д. С. Лихачев, ее памятники «продолжают самостоятельную жизнь в новых условиях и иногда в новых формах, подобно тому как пересаженное растение начинать жить и расти в новой обстановке»[14][14].

То, что Древняя Русь начала читать чужое несколько раньше, чем писать свое, ни в коей мере не свидетельствует о вторичности русской национальной культуры: речь идет лишь об одной области художественного творчества и лишь об одной сфере искусства слова, а именно о литературе, то есть о создании *письменных* текстов. Причем заметим, что на первых порах среди памятников письменности было весьма много текстов с современной точки зрения нелитературных — это была в лучшем случае специальная литература: труды по богословию, этике, истории и т. д. Если же говорить о словесном искусстве, то основную

13

14

массу его памятников составляли в то время, разумеется, *незаписываемые* фольклорные произведения. Об этом соотношении литературы и фольклора в духовной жизни общества того времени нельзя забывать.

Чтобы понять особенность и самобытность оригинальной русской литературы, оценить смелость, с которой русские книжники создавали произведения, «стоящие вне жанровых систем», такие, как «Слово о полку Игореве», «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника и подобные им, для всего этого необходимо познакомиться хотя бы с некоторыми образцами отдельных жанров переводной литературы.

Хроники. Интерес к прошлому Вселенной, истории других стран, к судьбам великих людей древности удовлетворялся переводами византийских хроник. Хроники эти начинали изложение событий от сотворения мира, пересказывали библейскую историю, приводили отдельные эпизоды из истории стран Востока, рассказывали о походах Александра Македонского, а затем об истории стран Ближнего Востока. Доведя повествование до последних десятилетий перед началом нашей эры, хронисты возвращались вспять и излагали древнейшую историю Рима, начиная от легендарных времен основания города. Остальную и, как правило, большую часть хроник занимало повествование о римских и византийских императорах. Завершались хроники описанием событий, современных их составлению.

Таким образом, хронисты создавали впечатление о непрерывности исторического процесса, о своеобразной «смене царств». Из переводов византийских хроник наибольшую известность на Руси в XI в. получили переводы «Хроники Георгия Амартола» и «Хроники Иоанна Малалы». Первая из них вместе с продолжением, сделанным еще на византийской почве, доводила повествование до середины X в., вторая — до времени императора Юстиниана (527-565).

Пожалуй, одной из определяющих черт композиции хроник являлось их стремление к исчерпывающей полноте династического ряда. Эта черта характерна и для библейских книг (где следуют длинные перечни родословных), и для средневековых хроник, и для исторического эпоса[15][15]. В рассматриваемых нами хрониках перечислены *все* римские императоры и *все* византийские императоры, хотя, сведения о некоторых из них ограничивались только указанием на продолжительность их царствования или сообщением об обстоятельствах их воцарения, свержения или смерти.

Эти династические перечни прерываются время от времени сюжетными эпизодами. Это сведения историко-церковного характера, занимательные рассказы о судьбе исторических деятелей, о чудесных явлениях природы — знамениях. Лишь в изложении истории Византии появляется относительно подробное описание политической жизни страны.

Сочетание династических перечней и сюжетных рассказов сохранили и русские книжники, создавшие на основе пространных греческих хроник свой краткий хронографический свод, именовавшийся предположительно «Хронографом по великому изложению».

«Александрия». Огромной популярностью пользовался в Древней Руси роман об Александре Македонском, так называемая «Александрия». Это было не исторически достоверное описание жизни и деяний прославленного полководца, а типичный эллинистический роман приключений[16][16]. Так, Александр, вопреки действительности, объявляется сыном бывшею египетского царя и чародея Нектонава, а не сыном македонского царя Филиппа; рождение героя сопровождается небесными знамениями. Александру приписываются походы, завоевания и путешествия, о которых мы не знаем из исторических источников, — все они порождены чисто литературным вымыслом. Примечательно, что значительное место в романе уделено описанию диковинных земель, которые будто бы посетил Александр во время своих походов на Восток. Он встречает в этих землях гигантов высотою в 24 локтя (около 12 метров), великанов, толстых и косматых,

15

16

похожих на львов, шестиногих зверей, блох размером с жабу, видит исчезающие и вновь возникающие деревья, камни, прикоснувшись к которым человек становился черным, посещает землю, где царит вечная ночь, и т. д.

В «Александрии» мы встречаем и остросюжетные (и также псевдоисторические) коллизии. Так, например, рассказывается, как Александр под видом собственного посла явился к персидскому царю Дарию, с которым в это время воевал. Мнимого посла никто не узнает, и Дарий сажает его с собой на пиру. Один из вельмож персидского царя, посетивший македонян в составе посольства от Дария, опознает Александра. Однако, воспользовавшись тем, что Дарий и остальные пирующие были сильно пьяны, Александр ускользает из дворца, но и в пути с трудом спасается от погони: он едва успевает пересечь замерзшую за ночь реку Гагину (Странгу): лед уже начал таять и разрушаться, конь Александра проваливается и гибнет, а сам герой все же успевает выскочить на берег. Преследователи-персы остаются ни с чем на противоположном берегу реки.

«Александрия» является непременной составной частью всех древнерусских хронографов; от редакции к редакции в ней все более усиливается приключенческая и фантастическая тема, что лишний раз указывает на интерес именно к сюжетно-занимательной, а не собственно исторической стороне этого произведения.

«Житие Евстафия Плакиды». В проникнутой духом историзма, обращенной к мировоззренческим проблемам древнерусской литературе не находилось места открытому литературному вымыслу (чудесам «Александрии» читатели, видимо, доверяли — ведь все это происходило давно и где-то в неведомых землях, на краю света!), бытовой повести или роману о частной жизни частного человека. Как ни странно на первый взгляд, но до известной степени потребности в такого рода сюжетах восполнялись такими авторитетными и тесно связанными с религиозной проблематикой жанрами, как жития святых, патерики или апокрифы.

Исследователи давно заметили, что пространные жития византийских святых в некоторых случаях весьма напоминали античный роман: внезапные изменения судьбы героев, мнимая смерть, узнавания и встречи после многолетней разлуки, нападения пиратов или хищных зверей — все эти традиционные сюжетные мотивы романа приключений странным образом уживались в некоторых житиях с идеей прославления подвижника или мученика за христианскую веру. Характерный пример такого жития — «Житие Евстафия Плакиды», переведенное еще в Киевской Руси.

В начале и в конце памятника — традиционные житийные коллизии: стратиг (полководец) Плакида решает креститься, увидев чудесное знамение. Кончается житие рассказом о том, как Плакида (получивший при крещении имя Евстафий) казнен по приказу императора-язычника, ибо отказался отречься от христианской веры.

Но основную часть жития составляет рассказ об удивительной судьбе Плакиды. Едва Евстафий крестился, как на него обрушились страшные беды: от «мора» гибнут все его рабы, и именитый стратиг, став совершенно нищим, вынужден покинуть родные места. Его жену отбирает корабельщик — Евстафию нечем заплатить за проезд. У него на глазах дикие звери утаскивают малолетних сыновей. Пятнадцать лет после этого прожил Евстафий в далеком селе, где нанялся сторожить «жита».

Но вот настает пора случайных счастливых встреч — это также традиционный сюжетный прием приключенческого романа. Евстафия находят его бывшие соратники, он возвращен в Рим и вновь поставлен стратигом. Возглавляемое Евстафием войско отправляется в поход и останавливается именно в том селе, где живет жена Евстафия. В ее доме заночевали два юноши-воина. Это сыновья Плакиды; оказывается, крестьяне отняли их у зверей и вырастили. Разговорившись, воины догадываются, что они родные братья, а женщина, в доме которой они остановились, догадывается, что она их мать. Затем женщина узнает, что стратиг — это и есть ее муж Евстафий. Семья счастливо воссоединяется.

Можно предполагать, что древнерусский читатель следил за злоключениями Плакиды с не меньшим волнением, чем за поучительной историей его гибели.

Апокрифы. Постоянный интерес у древнерусских книжников, начиная с древнейшей поры истории русской литературы, вызывали апокрифы — легенды о библейских персонажах, не вошедшие в канонические (признанные церковью) библейские книги, рассуждения на темы, волновавшие средневековых читателей: о борьбе в мире добра и зла, о конечной судьбе человечества, описания рая и ада или неведомых земель «на краю света».

Большинство апокрифов — это занимательные сюжетные рассказы, которые поражали воображение читателей либо неизвестными им бытовыми подробностями о жизни Христа, апостолов, пророков, либо чудесами и фантастическими видениями. Церковь пыталась бороться с апокрифической литературой. Составлялись специальные списки запрещенных книг — индексы. Однако в суждениях о том, какие произведения являются безусловно «отреченными книгами», то есть недопустимыми для чтения правоверными христианами, и какие лишь апокрифическими (буквально *апокрифические* — тайные, сокровенные, *то* есть рассчитанные на искушенного в богословских вопросах читателя), у средневековых цензоров не было единства. Индексы различались по составу; в сборниках, порой весьма авторитетных, мы встречаем рядом с каноническими библейскими книгами и житиями также апокрифические тексты. Иногда, впрочем, и здесь их настигала рука ревнителей благочестия: в некоторых сборниках листы с текстом апокрифов вырваны или текст их зачеркнут. Тем не менее апокрифических произведений существовало очень много, и они продолжали переписываться в течение всей многовековой истории древнерусской литературы.

Патристика. Большое место в древнерусской переводной письменности занимала патристика, то есть сочинения тех римских и византийских богословов III-VII вв., которые пользовались в христианском мире особым авторитетом и почитались как «отцы церкви»[17][17]: Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина, Афанасия Александрийского и других.

В их произведениях разъяснялись догматы христианской религии, толковалось Священное писание, утверждались христианские добродетели и обличались пороки, ставились различные мировоззренческие вопросы. В то же время произведения как учительного, так и торжественного красноречия имели немалое эстетическое значение. Авторы торжественных слов, предназначенных для произнесения в церкви во время богослужения, отлично умели создавать атмосферу праздничного экстаза или благоговения, которая должна была охватывать верующих при воспоминании о прославляемом событии церковной истории, в совершенстве владели искусством риторики, которую византийские писатели унаследовали еще из античности: не случайно многие из византийских богословов учились у риторов-язычников.

На Руси особой известностью пользовался Иоанн Златоуст (ум. в 407 г.); из слов, ему принадлежащих или ему приписываемых, составлялись целые сборники, носившие наименования «Златоуст» или «Златоструй».

Особенно красочен и богат тропами язык богослужебных книг. Приведем несколько примеров. В служебных минеях (сборнике служб в честь святых, расположенных по дням, когда они почитаются) XI в. читаем: «Зрел грозд явися мысльныя лозы, в точило же мучения ввержен, умиления нам вино источил еси». Буквальный перевод этой фразы разрушит художественный образ, поэтому поясним лишь суть метафоры. Святой сравнивается со зрелой гроздью виноградной лозы, но подчеркивается, что это не реальная, а духовная («мысльная») лоза; подвергнутый мукам святой уподоблен винограду, который давят в «точиле» (яме, чане), чтобы «источить» сок для изготовления вина, мучения святого «источают» «вино умиления» — чувство благоговения и сострадания ему.

Еще несколько метафорических образов из тех же служебных миней XI в.: «Из глубины злоб последняя коньцю высоты добродетели, яко орел, высоце летая, преславно востече, Матфею прехвальне!»; «Напряг молитвенныя лукы и стрелы и змия лютаго, ползающую змию, ты умертвил еси, блаженна, от того вреда святое стадо избавив»;

17

«Возвышающееся море прелестьное многобожия бурею божественным правлением славно прошел еси, пристанище тихое всем быв утапающим». «Молитвенные луки и стрелы», «буря многобожия», которая вздымает волны на «прелестном [коварном, обманчивом] море» суетной жизни, — все это метафоры, рассчитанные на читателя, обладающего развитым чувством слова и изощренным образным мышлением, превосходно разбирающегося в традиционной христианской символике. И как можно судить по оригинальным произведениям русских авторов — летописцев, агиографов, создателей поучений и торжественных слов, это высокое искусство было полностью воспринято ими и претворено в своем творчестве.

[18][1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.-Л., 1941, т. 14, с. 163.

[19][2] Лихачев Д. С. Своеобразие древнерусской литературы. — В кн.: Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971, с. 56.

[20][3] О назначении и содержании слов говорят уже сами их заглавия. Например: «Иоанна... Златоустаго слово в великий четверток», «Слово Василия Великого о хмельном питии», «Слово некоего старца о послушании».

[21][4] *Паломниками* называли посетивших Палестину, ибо, возвращаясь оттуда, они приносили с собой пальмовую ветвь.

[22][5] В странах Западной Европы, напротив, эпос сравнительно рано вошел в круг жанров литературы, породив со временем рыцарский роман (первые рыцарские романы, как правило, разрабатывали эпические сюжеты); с эпосом такого рода Русь познакомится в основном лишь в XV в.

[23][6] Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд. Л., 1971, с. 108.

[24][7] Житие Феодосия написано Нестором в конце XI в.; житие Нифонта — в XVI в.; распространенная редакция жития Варлаама Хутынского — не ранее середины XVI в.

[25][8] Этот термин был предложен Д. С. Лихачевым (см.: Лихачев Д. С. У предыстоков реализма русской литературы. — Вопросы литературы, 1957, № 1, с. 73).

[26][9] См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Л., 1973, гл. 3.

[27][10] См.: Лихачев Д. С. Пути к новой русской литературе. — В кн.: Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971.

[28][11] См.: Адрианова-Перетц В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси. — ТОДРЛ. Л., 1972, т. XXVII.

[29][12] См. об этом в специальных исследованиях: Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII вв. М.-Л., 1962; Текстология. Краткий очерк. М.-Л., 1964.

[30][13] В «Физиологе» рассказывалось о живых существах, растениях, минералах, однако описания повадок животных или свойств растений (обычно совершенно фантастические) служили лишь основанием для приведения аналогий: так, поведение льва символизировало воскресение Христа, действия лисицы — поступки хитреца и т. д. «Шестоднев» являлся

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

своеобразным комментарием к библейскому рассказу о сотворении мира: в нем подробно рассказывалось о небесных светилах, устройстве Земли, о населяющих ее животных, о растениях и т. д. Это была своеобразная средневековая «энциклопедия» природы.

[31][14] Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 22. Подробнее о процессе литературной трансплантации и об особенностях древнеславянской литературы-посредницы см. там же, с. 15-44.

[32][15] См., например, подобные же генеалогические перечни в «Младшей Эдде» (Младшая Эдда. Изд. подготовили О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. Л., 1970, с. 11. Серия «Литературные памятники»).

[33][16] Греческая «Александрия» — оригинал славянского перевода — имеет свою сложную историю. В ее основе лежали исторические предания об Александре, в течение времени дополненные многочисленными легендарными и фантастическими подробностями. Как полагают, редакция «Александрии», которая стала известна славянскому переводчику, сложилась к IV в н. э.

[34][17] *Патер* (греч) — отец; отсюда и название сочинений отцов церкви — патристика.

ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ (XI-XII вв.)

Осваивая общеславянскую литературу-посредницу, занимаясь переводами с греческого, древнерусские книжники одновременно обращаются к созданию оригинальных произведений различных жанров. Мы не можем с точностью указать, когда появились первые записи исторических преданий, когда они стали объединяться в связное историческое повествование, но несомненно, что уже в середине XI в., если не ранее, составляются первые русские летописи.

В это же время киевский священник Иларион (будущий митрополит) пишет «Слово о законе и благодати» — богословский трактат, в котором, однако, из догматических рассуждений о превосходстве «благодати» (Нового завета) над «законом» (Ветхим заветом) вырастает отчетливо выраженная церковно-политическая и патриотическая тема: принявшая христианство Русь — страна не менее авторитетная и достойная уважения, чем сама Византия. Русские князья Игорь и Святослав прославились своими победами и «крепостью»; Владимир, крестивший Русь, по значительности своего поступка достоин сравнения с апостолами, а киевский князь Ярослав Владимирович (при котором и писал свое «Слово» Иларион) не «рушит», а «утверждает» начинания отца. Он создал храм святой Софии (Софийский собор в Киеве), подобного которому нет в «округних» странах, украсив его «всякой красотой, златом и сребром и камением драгим», как пишет Иларион. Д. С. Лихачев пояснил, почему так важно было подчеркнуть именно строительство этого храма: «строя храм Софии в Киеве, Ярослав «строил» русскую митрополию, русскую самостоятельную церковь. Называя вновь строящийся храм тем же именем, что и главный храм греческой церкви, Ярослав претендовал на равенство русской церкви с греческой»[35][1]. Именно в этом осознании равенства Руси и Византии заключалась основная идея «Слова» Илариона. Эти же патриотические идеи легли и в основу древнейшего русского летописания.

Русские книжники выступают и в агиографическом жанре: в XI — начале XII в. были написаны жития Антония Печерского (оно не сохранилось), Феодосия Печерского, два варианта жития Бориса и Глеба. В этих житиях русские авторы, несомненно знакомые с агиографическим каноном и с лучшими образцами византийской агиографии, проявляют, как

31
32
33
34
35

мы увидим далее, завидную самостоятельность и обнаруживают высокое литературное мастерство.

В начале XII в. (видимо, около 1117 г.) киевский князь Владимир Мономах пишет «Поучение», обращенное к сыновьям, но одновременно и к тем русским князьям, которые пожелали бы прислушаться к его советам. «Поучение» удивительно и тем, что совершенно выпадает из строгой системы жанров, не имея себе аналога в древнерусской литературе, и тем, что Мономах обнаруживает в нем не только государственный кругозор и богатый жизненный опыт, но также высокую литературную образованность и безусловный писательский талант. И «Поучение», и сохранившееся письмо Мономаха к Олегу Святославичу[36][2] не только литературные памятники, но и важные памятники общественной мысли: один из наиболее авторитетных киевских князей пытается убедить современников в пагубности феодальных раздоров — ослабленная усобицами Русь не сможет активно противостоять внешним врагам. Этой основной идеей произведения Мономаха перекликаются со «Словом о полку Игореве»[37][3].

Десятилетием ранее, чем было написано «Поучение» Мономаха, игумен одного из русских монастырей — Даниил посетил Иерусалимское королевство (основанное крестоносцами в отвоеванной у арабов Палестине) и составил подробный рассказ о своем путешествии, который известен под названием «Хожение Даниила Русской земли игумена». Путешественник подробно описывает увиденные достопримечательности, пересказывая при этом связанные с ними библейские сюжеты и апокрифические легенды. Даниил выступает как патриот родной земли, не забывающий в дальних странах о ее интересах, заботящийся о ее престиже.

Вторая половина XII в. отмечена бурным развитием летописания. Об этом нам позволяет судить южнорусский свод начала XV в. (Ипатьевская летопись), в составе которого сохранились фрагменты из летописных сводов более раннего времени.

В конце XII в. создавал свои произведения епископ города Турова — Кирилл, один из самых блестящих древнерусских писателей. Особо значительное место в его творчестве занимают слова на церковные праздники, рассчитанные на произнесение в церкви во время торжественного богослужения. Продуманность композиции, богатство языка, смелость и яркость метафор и сравнений, мастерство в построении фраз и периодов со всеми ухищрениями риторического искусства (синтаксический параллелизм, обращения, выразительные антитезы и т. д.) — все эти достоинства произведений Кирилла ставят его на один уровень с прославленными византийскими писателями[38][4].

Венчает литературное развитие этой эпохи «Слово о полку Игореве».

Краткость перечня памятников оригинальной русской литературы XI-XII вв. — а здесь названы почти все наиболее значительные произведения — заставляет нас задуматься над тем, сколь неполны, видимо, наши сведения о литературе Киевской Руси. Мы знаем лишь какую-то небольшую долю из числа созданных тогда произведений, лишь те из них, которым посчастливилось пережить страшные годы монголо-татарского нашествия.

Невольно напрашивается такое сравнение. Художники эпохи классицизма любили изображать романтический пейзаж: среди полей, поросших кустарниками, где пасутся стада овец и наигрывают на свирелях красочно одетые пастушки, высятся руины прекрасного и величественного храма, который, казалось бы, должен стоять не здесь, в сельской глуши, а на площади оживленного античного города...

Нечто подобное представляет для нас литература Киевской Руси: несколько шедевров, которые составили бы славу любой богатой памятниками литературе, — «Повесть временных лет», «Житие Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о полку Игореве», творения Кирилла Туровского... Но где связывающие их звенья, то окружение, в котором создавались эти шедевры? Именно такие чувства владели когда-то А. С. Пушкиным,

---

36

37

38

с горечью писавшим: «К сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник — «Песнь о полку Иг[ореве]»[39][5]. В те годы древнерусская литература была еще не «открыта», русские исследователи познакомятся с ней глубже двумя-тремя десятилетиями позже. Но то же ощущение «одинокости» шедевров не покидает нас до сих пор. В чем же причина этого странного явления?

Разумеется, эти дошедшие до нас памятники были не одиноки, они просто не могли быть одинокими, поскольку свидетельствуют о существовании литературных школ, о высоком уровне и литературного мастерства, и самой породившей их литературы.

Прежде чем подойти к ответу на наш недоуменный вопрос, приведем один достаточно яркий пример. В Ипатьевской летописи мы читаем в статье 1147 г. о митрополите Клименте Смолятиче (то есть происходившем из Смоленской земли) — «бысть книжник и философ так, якоже в Руской земли не бяшеть». Но что нам известно о творчестве этого «книжника и философа», равного которому, по словам летописца, не было в Русской земле? Мы знаем лишь начало его «Послания Фоме прозвитеру». Это и очень мало, но и весьма много: дело в том, что из письма мы узнаем о чрезвычайно интересном и знаменательном факте литературного быта Киевской Руси: Климент отстаивает перед своим оппонентом правомерность «приточного» толкования Священного писания, то есть толкования с помощью аллегорических рассказов — притч. Итак, с одной стороны, и летопись, и известный нам повод, вызвавший спор Климента с Фомой, говорят об одном и том же — Климент Смолятич был писателем несомненно образованным и начитанным (Фома даже упрекал его в том, что он пишет «от Омира [Гомера], и от Аристоля [Аристотеля], и от Платона») и, вероятно, достаточно плодовитым, если пользовался такой славой и авторитетом. С другой стороны, если бы не случайно уцелевшее в единственном списке XV в. «Послание», мы бы совершенно ничего не узнали о Клименте, за исключением приведенной выше характеристики в летописи. Еще один пример. В XII в, в Киевской Руси существовало несколько летописных центров, при княжеских дворах составлялись «родовые» летописцы. И эти летописцы и местные летописи утрачены, и если бы не южнорусский свод конца XII в., включивший в свой состав фрагменты из этих источников, и не Ипатьевская летопись начала XV в., сохранившая этот свод, мы бы ничего не знали ни о летописном деле на Руси XII в., ни о самих событиях этого времени — в других летописях события в Южной Руси упоминаются крайне скупо.

Если бы не сохранилась Лаврентьевская летопись 1377 г., мы бы отдалились от времени создания «Повести временных лет» на три века, ибо следующие по старшинству списки «Повести» относятся уже к XV в.

Словом, мы очень мало знаем о литературе и книжности Киевской Руси. Монголо-татарское нашествие привело не только к гибели десятков или сотен тысяч людей, не только к запустению городов, в том числе крупнейших центров письменности, оно самым жестоким образом истребило и саму древнерусскую книжность. Лишь те произведения, спискам которых удалось уцелеть и привлечь к себе внимание книжников XIV или XV в., стали известны исследователям нового времени. Так, путешествие игумена Даниила состоялось в начале XII в., тогда же он и написал свое «Хожение», однако старшие списки памятника относятся лишь к XV в.

Древнейший список «Истории Иудейской войны», переведенной в XII в., относится к концу XV в. При этом, как полагает Н. А. Мещерский[40][6], списки древнего перевода были на Руси утрачены. Но в 1399 г. в Константинополе русский писец Иоанн переписал находившийся там русский список; от этой рукописи Иоанна, вернувшейся снова на Русь, и возродилась рукописная традиция памятника.

Итак, сохранившиеся до нового времени литературные памятники XI-XII вв. — это лишь по счастливому стечению обстоятельств уцелевшие остатки литературы, находившейся

39

40

в канун монголо-татарского нашествия в поре расцвета. О высоком уровне этой литературы свидетельствуют, в частности, и те произведения, к анализу которых мы сейчас обратимся.

«Повесть временных лет». Каждый народ помнит и знает свою историю. В преданиях, легендах, песнях сохранялись и передавались из поколения в поколение сведения и воспоминания о прошлом. Летопись — систематическая, из года в год ведущаяся хроника — выросла в значительной мере на основе устного исторического эпоса.

Летопись как *литературный жанр* (а не исторические записи вообще!) возникает, видимо, в середине XI в. Однако древнейшие списки летописей относятся к более позднему времени: XIII и XIV вв. датируется Синодальный список Новгородской первой летописи.

Лаврентьевский список относится к 1377 г., Ипатьевский список Ипатьевской летописи — к первой четверти XV в. Остальные списки летописей более позднего времени. Поэтому историю древнейшего периода развития русского летописания ученым приходится восстанавливать, опираясь на тексты упомянутых выше списков, отделенных от времени составления самих летописей значительным промежутком времени.

Изучение летописания осложняется еще и следующим обстоятельством. Почти каждая летопись представляет собой свод. Это значит, что летописец, как правило, не только фиксировал современные ему события, но дополнял своими записями текст более ранней летописи, повествовавшей о предшествующем периоде. Поэтому оказывается, что почти в каждой летописи история Руси излагается «с самого начала» — приводится полностью или в сокращении, иногда очень значительном, текст «Повести временных лет», рассказывающей, «откуда есть пошла Русская земля». Составляя новый летописный свод, летописец не относился к своим источникам формально, механически «складывая» их: он редактировал текст своего предшественника, сокращал его или дополнял по другим источникам, а иногда в соответствии со своими историографическими взглядами изменял оценку событий или по-новому интерпретировал отдельные факты[41][7]. Все эти особенности работы древнерусских историографов значительно осложняют изучение летописей. Однако наука выработала достаточно совершенную методику исследования летописных текстов: путем их сопоставления устанавливаются сходства или различия фрагментов, повествующих об одних и тех же событиях, выясняются источники изучаемого свода, степень и характер их переработки в нем, предполагаемое время его составления[42][8].

«Повесть временных лет», о которой речь пойдет далее, создана в начале XII в. Составителем ее первой редакции традиционно считается Нестор, хотя вопрос о возможности отождествления Нестора-летописца и Нестора-агиографа, автора «Жития Бориса и Глеба» и «Жития Феодосия Печерского», по сей день остается дискуссионным. В богатой летописной традиции Древней Руси «Повесть временных лет» занимает совершенно особое место. По словам Д. С. Лихачева, она явилась «не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочинением, связанным с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельной, литературно изложенной историей Руси.

— Можно смело утверждать, — продолжает ученый, — что никогда ни прежде, ни позднее, вплоть до XVI в., русская историческая мысль не поднималась на такую высоту ученой пытливости и литературного умения»[43][9].

Древнейшая редакция «Повести временных лет» до нас не дошла, но сохранилась вторая редакция «Повести» в составе Лаврентьевской и Радзивиловской летописей, видимо лишь в незначительной степени изменившая ее первоначальный текст.

«Повесть временных лет», как и большинство летописей, — свод, произведение, основанное на предшествующих летописных сочинениях, включившее в свой состав фрагменты из различных источников, литературных, публицистических, фольклорных и т. д. Отвлечемся здесь от вопроса о происхождении компонентов «Повести временных лет» и, в

41
42
43

частности, о взаимоотношениях ее с предшествующим летописным сводом конца XI в. (ученые именуют его Начальным сводом) и взглянем на нее как на цельный памятник.

«Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть» — с этих слов начинается летопись, и эти первые слова стали традиционным ее названием — «Повесть временных лет»[44][10].

Для памятников средневековой историографии, посвященных проблемам всеобщей истории, то есть для хроник, было характерно начинать изложение «с самого начала», с сотворения мира, а генеалогические линии правящих династий возводить к мифическим героям или даже богам.

«Повесть временных лет» не осталась в стороне от этой тенденции- Нестор начинает свое повествование также с некоего исходного момента. Согласно библейской легенде, бог, разгневавшись на людской род, погрязший во всевозможных, грехах, решил уничтожить его, наслав на землю всемирный потоп. Все «допотопное» человечество погибло, и лишь Ною, его жене, трем сыновьям и невесткам удалось спастись. От сыновей Ноя — Сима, Хама и Иафета — и произошли люди, населяющие ныне землю. Так говорилось в Библии.

Нестор и начинает поэтому «Повесть временных лет» с рассказа о разделении земли между сыновьями Ноя, подробно вслед за византийскими хрониками перечисляя земли, доставшиеся каждому из них. В этих хрониках Русь, разумеется, не упоминалась, и летописец искусно вводит славянские народы в контекст мировой истории: в названном перечне после упоминания Илюрика (Иллирии — восточного побережья Адриатического моря или народа, там обитавшего) он добавляет слово «славяне». Затем, в описании земель, доставшихся потомкам Иафета, в летописи появляются упоминания русских рек — Днепра, Десны, Припяти, Двины, Волхова, Волги. В «части» Иафета, сообщает летописец, и живут «русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь...» И далее следует перечень племен, населяющих Восточно-Европейскую равнину.

После этого летописец переходит уже к истории славян, рассказывает, как они расселялись по земле и как прозывались в зависимости от того места, где оставались жить: те, кто сели по реке Мораве, назвались *марава,* кто осел на берегах реки Полоть, — «прозвашася полочане», а *словени,* поселившиеся на берегах озера Ильмень, «прозвашася своим именем». Летописец повествует об основании Новгорода и Киева, об обычаях полян, которые, в отличие от древлян, вятичей и северян, были «мужи мудри и смыслени» и хранили обычай отцов своих «кроток и тих». Эта вводная историографическая часть «Повести временных лет» завершается сюжетным эпизодом. Хазары потребовали от полян (племени, жившего в Киеве и окрест его) дани, те же выплатили им дань мечами. И сказали хазарские старцы своему владыке: «Не добра дань, княже! ...Си имуть имати [будут собирать] дань на нас и на инех странах». «Се же сбыться [сбылось] все», — с гордостью заключает летописец.

Эта вводная часть «Повести временных лет» имеет немаловажное историографическое значение. В ней утверждалось, что славяне, и Русь в числе славянских народов, как равные среди равных упоминаются среди других народов — потомков самого достойнейшего из сыновей Ноя — Иафета. Славяне, словно бы осуществляя какие-то предначертания свыше, заселяют отведенные им земли, а поляне, на земле которых находилась будущая столица Руси — Киев, издавна выделялись мудростью и высокой нравственностью среди прочих племен. И наконец сбылось предсказание мудрых хазарских старцев — Русь ныне никому не подчиняется, она сама собирает дань с окрестных народов. Так определено Нестором место славян и Руси во всемирной истории. Не менее важной задачей было обоснование прав киевских князей на владение всей Русской землей. Легенда о призвании варягов появилась еще в Начальном своде, у Нестора она получила окончательное завершение. Согласно этой легенде, среди славянских племен начались распри, «вста род на род», и было решено пригласить из-за моря чужих князей, чтобы те пришли установить порядок, «княжить и володеть» ими. На Русь, рассказывается в летописи, пришли три брата

44

— Рюрик, Синеус и Трувор. Двое из них умерли, а Рюрик стал княжить в Новгороде. После смерти Рюрика князем стал его родственник Олег, так как сын Рюрика — Игорь был еще «детеск велми». Олег вместе с младенцем Игорем отправился из Новгорода на юг, хитростью (и в то же время законно, ибо он действовал «от имени» сына Рюрика) захватил Киев и стал там княжить. После смерти Олега киевским князем стал Игорь, тот Игорь, потомки которого и ныне (в годы создания «Повести временных лет») княжат в Киеве и в других уделах Русской земли.

Исследователи без особого труда вскрыли легендарность истории о призвании варягов. Достаточно упомянуть, что древнейшие русские памятники возводят династию киевских князей к Игорю, а не к Рюрику; странно и то, что «регентство» Олега продолжалось при «малолетнем» Игоре ни много ни мало 33 года, и то, что в Начальном своде Олег именуется не князем, а воеводой…[45][11] Но эта легенда явилась одним из краеугольных камней древнейшей русской историографии. Она отвечала прежде всего средневековой историографической традиции, где правящий род часто возводился к иноземцу: этим устранялась возможность соперничества местных родов. «В происхождение французских королей от троян верили даже в XVI в. Многие из своих династий немцы выводили из Рима, швейцарцы — от скандинавов, итальянцы — от германцев», — иллюстрирует эту мысль Д. С. Лихачев.

Во-вторых, утверждение, что династия Рюриковичей уходит своими корнями в глубокую древность, должно было, по мнению летописца, поднять престиж кровного родства князей Рюриковичей, укрепить их сознание братских уз, предотвратить междоусобицу. Однако феодальная практика оказалась на деле сильнее самых убедительных историографических концепций.

Вводная часть «Повести временных лет» не имеет дат. Первая дата в летописи — 6360 (852) г. С этого времени, утверждает летописец, «нача ся прозывати Руска земля». Основанием для этого ему послужил рассказ византийской «Хроники Георгия Амартола» о походе Руси на Константинополь, который уже сам летописец отождествил с походом киевских князей Аскольда и Дира (убитых впоследствии Олегом). В той же статье 852 г. содержится традиционный для византийской хронографии расчет лет, прошедших от одного знаменательного события всемирной истории до другого. Он начинается, как обычно, подсчетом лет, прошедших от Адама до потопа, от потопа до Авраама и т. д., но, упомянув византийского императора Михаила III (842-867), летописец переходит к событиям русской истории: «А от первого лета Михайлова до первого лета Олгова, рускаго князя, лет 29...» И в этом случае история Руси под пером летописца естественно сливается со всемирной историей, продолжая ее.

Широта исторического кругозора, отличающая вводную часть «Повести временных лет», присуща и ее дальнейшему изложению. Так, рассказывая о «выборе вер» Владимиром, летописец приводит пространную речь, будто бы произнесенную перед князем греческим миссионером, в которой кратко пересказывается вся священная история (от «сотворения мира» до распятия Христа), комментируются решения семи вселенских церковных соборов, на которых решались спорные догматические вопросы христианского вероучения, обличаются «латине», то есть сторонники католического вероисповедания, открыто противопоставившего себя греческой церкви после 1054 г. Мы видим, что летопись и в этих случаях выходит за рамки собственно русской истории, поднимает проблемы мировоззренческого и церковно-догматического характера.

Но особенно глубоко анализирует и осмысляет летописец, разумеется, события на Руси. Он оценивает значение ее христианизации, деятельность русских переводчиков и книгописцев при Ярославе Мудром; рассказывая о возникновении Киево-Печерского монастыря, настойчиво подчеркивает связь русских монастырей с прославленными монастырями Византии.

45

Летописцы не просто излагают события, а пытаются, разумеется в традициях средневековой христианской историографии, осмыслить их и объяснить. Поражение русских князей в войне 1068 г. с половцами летописец осмысляет как следствие «божьего гнева» и даже находит конкретный повод для проявления божественного возмездия: на Руси, по его словам, еще много христиан, лишь на словах являющихся такими, они суеверны, дьявол всякими соблазнами отвлекает их от бога, «трубами и скоморохы, гусльми и русальи [праздниками поминовения умерших]». На игрищах, сокрушается летописец, «людей много множество», «а церкви стоять, егда же бывает год молитвы [час богослужения], мало их обретается в церкви».

Снова возвращается летопись к теме «казней божьих» в статье 10S2 г., рассказывая о поражении русских князей в битве с половцами уТреполя (южнее Киева)[46][12]. После обильно пересыпанных библейскими цитатами рассуждений о причинах, навлекших божественную кару, летописец рисует драматическую картину: половцы уводят захваченных русских пленников, и те, голодные, страдающие от жажды, раздетые и босые, «ногы имуще сбодены терньем [раненные о колючие травы], со слезами отвещаваху друг к другу, глаголюще: «Аз бех сего города», и други: «Яз сея вси [деревни, селения]»; такс съупрашаются [расспрашивают] со слезами, род свой поведающе и въздышюче, очи возводяще на небо к вышнему, сведущему тайная». Нетрудно понять чувства людей того времени и сложность задачи книжников и церковных проповедников: приняв новую религию, русские люди, казалось бы, отдали себя под покровительство могущественного и справедливого бога. Так почему же этот бог дарует победу поганым (язычникам) половцам и обрекает на страдания своих благоверных христиан? Так возникает постоянная для средневековой литературы тема божественного возмездия за грехи.

К этой же теме обращается летопись и в статье 1096 г., повествующей о новом набеге половцев, во время которого пострадал и Киево-Печерский монастырь. Летописцу не остается ничего другого, как обещать, что страдающие на земле христиане удостоятся за свои муки царства небесного. Но мысль о могуществе «поганых» не оставляет летописца, и он приводит обширную выписку из апокрифического слова Мефодия Патарского, «объясняющего» происхождение различных кочевых народов и упоминающего, в частности, о легендарных «нечистых народах», которые были загнаны Александром Македонским на север, заточены в горах, но которые «изидут» оттуда «к кончине века» — в канун гибели мира. Опасности приходили на Русскую землю не только извне: страну терзали междоусобные войны князей. Летописцы страстно выступают против братоубийственных усобиц. Не случайно, видимо, приводится безымянная (и быть может, сформулированная самим летописцем) речь князей на снеме (съезде) в Любече: «Почто губим Русьскую землю, сами на ся котору деюще? А половци нашю землю несуть розно, и ради суть, оже межю нами рати. Да ноне отселе имемся в едино сердце и блюдем Рускые земли».

Однако Любечский снем не положил конец «которам»; напротив, сразу же после его окончания свершилось новое злодеяние: был оклеветан и ослеплен князь Василько Теребовльский. И летописец вставляет в текст летописи отдельный подробный рассказ о событиях этого времени, страстную «повесть о княжеских преступлениях» (слова Д. С. Лихачева), которая должна убедить не только ум, но и сердце читателей в настоятельной необходимости искреннего и действительного братолюбия среди Рюриковичей. Только их союз и совместные действия могут оградить страну от разорительных набегов половцев, предостеречь от внутренних усобиц.

«Повесть временных лет», как памятник историографии, пронизана единой патриотической идеей: летописцы стремятся представить свой народ как равный среди других христианских народов, с гордостью вспоминают о славном прошлом своей страны — о доблести князей-язычников, благочестии и мудрости князей-христиан. Летописцы говорят от лица всей Руси, поднимаясь над мелочными феодальными спорами, решительно осуждая распри и «которы», с болью и тревогой описывая бедствия, приносимые набегами

46

кочевников. Словом, «Повесть временных лет» — это не просто описание первых веков существования Руси, это рассказ о великих началах: начале русской государственности, начале русской культуры, о началах, которые, по убеждению летописцев, сулят в грядущем могущество и славу их родине.

Но «Повесть временных лет» не только памятник историографии, она и выдающийся памятник литературы. В летописном тексте можно различить как бы два типа повествования, существеннейшим образом отличающихся друг от друга. Один тип — это погодные записи, то есть краткие информации о происшедших событиях. Так, статью 1020 г. составляет одно сообщение: «Родися у Ярослава сын, и нарече имя ему Володимер». Это фиксация исторического факта, не более того. Иногда в летописную статью входит ряд таких фиксаций, перечень различных фактов, иногда даже достаточно подробно сообщается о сложном по своей структуре событии: например, сообщается, кто принимал участие в какой-либо военной акции, где собрались войска, куда они двинулись, чем закончилась та или иная битва, какими посланиями обменялись князья-враги или князья-союзники. Особенно много таких подробных (порой многостраничных) погодных записей в Киевской летописи XII в. Но дело не в краткости или подробности повествования, а в самом его принципе: *информирует* ли летописец о происшедших событиях и ли *рассказывает* о них, создавая сюжетное повествование. Для «Повести временных лет» характерно наличие именно таких сюжетных рассказов[47][13]. Приведем один наглядный пример небольшого летописного рассказа.

В статье 968 г. рассказывается об осаде Киева печенегами. Князь Святослав находится далеко от своей столицы: он воюет в Болгарии. В осажденном Киеве осталась его мать, престарелая княгиня Ольга, и его сыновья. Люди «изнемогаху... гладом и водою [от нехватки воды]». На противоположном берегу Днепра находится с дружиной русский воевода Претич. Летопись рассказывает, как было передано воеводе послание княгини Ольги из осажденного города. Приведем этот летописный фрагмент в переводе Д. С. Лихачева: «И стали тужить люди в городе и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог пробраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я пройду», и ответили ему: «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня?» Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили его, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли к дружине. И сказал им отрок: «Если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам».

На этом рассказ не заканчивается: повествуется о том, как воевода Претич хитростью заключил мир с печенегами и как Святослав избавил свою столицу от врагов. Однако вернемся к рассмотренному эпизоду. Перед нами не просто информация, что некий отрок, добравшись к Претичу, передал ему просьбу княгини, а попытка описать, *как именно* отроку удалось осуществить свой дерзкий замысел. Отрок бежит через стан врагов с уздечкой в руке, расспрашивая на их родном языке о будто бы пропавшем коне, — все эти детали делают рассказ зримым и убедительным; это художественно организованный сюжет, а не сухая информация о происшедшем. Итак, помимо собственно погодных записей, летопись знает и сюжетные рассказы, и именно они ставят летописный жанр в ряд других жанров древнерусской литературы.

В «Повести временных лет» особое место занимают рассказы, восходящие к устным историческим преданиям и легендам. Именно таковы рассказы о первых русских князьях: Олеге, Игоре, княгине Ольге, о Святославе, о времени Владимира. В этих рассказах особенно проявился тот стиль летописного повествования, который Д. С. Лихачев назвал эпическим стилем.

Здесь необходимо подчеркнуть, что стиль в древнерусской литературе — это не узкоязыковое явление, не только слог и собственно языковые средства. Стиль — это особое

видение мира, особый подход к его изображению, а также, разумеется, и сумма приемов (в том числе языковых), с помощью которых этот подход реализуется.

Так, для повествования в эпическом стиле характерно, что герой — это человек богатырского подвига, отличающийся каким-либо необыкновенным качеством — хитростью, умом, храбростью, силой; такой «герой тесно связан с одним или несколькими подвигами, характеристика его едина, неизменна, прикреплена к герою»[48][14].

Рассказ о подобном герое — это обычно рассказ о его подвиге, отсюда непременной чертой такого повествования является наличие острого, занимательного сюжета. Очень часто формирующей силой сюжетной коллизии является хитрость героя. Перехитрил печенегов киевский отрок, о котором речь шла выше. Хитростью отличается в народных преданиях и княгиня Ольга: успех всех ее «местей» древлянам за убийство мужа определен коварной мудростью княгини, хитроумно обманывающей простодушных и чванливых древлян. Проследим, как построены эти летописные рассказы о мести Ольги.

В статье 945 г. повествуется, что после убийства Игоря древляне посылают к его вдове послов с предложением выйти замуж за их князя Мала. Древлянские послы, приплыв на ладьях к Киеву, пристали под Боричевом. И тут любопытное уточнение: «бе бо тогда вода текущи въздоле [у подножья] горы Киевския и на подольи не седяху людье, но на горе», далее объясняется, где именно располагался тогда Киев, где стоял терем княгини и т. д. Зачем эти подробности, на первый взгляд лишь замедляющие течение рассказа? Видимо, это след устного повествования, когда рассказчик, обращаясь к слушателям, стремился добиться их зрительного или, лучше сказать, пространственного сопереживания: теперь, когда границы Киева стали иными, слушателям необходимо пояснить, каким был город тогда, в далекие времена княжения Игоря и Ольги.

«И поведаша Ользе, яко древляне придоша...» — продолжает рассказ летописец. Далее следует диалог Ольги с древлянскими послами. Живой, непринужденный диалог — непременный элемент рассказа, он часто бывает психологически бесстрастен, для него характерна иллюстративная речь, важно, не *как* говорится, а лишь то, *что* именно говорится, так как в этом «что» и заключается зерно сюжета. Итак, Ольга предлагает древлянским послам отправиться на ночь в свои ладьи, а наутро потребовать у киевлян: «не едем на конех, ни пеши идем, но понесете ны в лодьи». Это благоволение Ольги к послам убийцы своего мужа неожиданно, и благодаря этому сюжет приобретает определенную напряженность, занимательность. Однако автор тут же перестает интриговать слушателя, сообщая, что Ольга «повеле ископати яму велику и глубоку на дворе теремьстемь». Здесь, как и в других эпических рассказах, в неведении до последнего момента остается отрицательный герой, а читатель догадывается (либо даже определенно знает) о хитрости положительного героя и заранее предвкушает победу, интрига приоткрыта для «своего» читателя и остается загадкой для противника в рассказе.

И действительно, древлянские послы, не подозревая обмана, требуют нести себя в лодье, как советовала им княгиня: летописец подчеркивает, что они сидят в ней «гордящеся»; это еще более обостряет развязку сюжета: упоенных оказываемыми им мнимыми почестями древлян неожиданно для них сбрасывают в яму, а Ольга, подойдя к краю ее, со зловещей иронией спрашивает: «Добра ли вы честь?» И приказывает засыпать их живыми.

По той же схеме построен и рассказ о последней, четвертой мести Ольги: осадив столицу древлян Искоростень, Ольга вдруг объявляет о своей милости: «А уже не хощю мъщати, но хощю дань имать помалу, и смирившися с вами пойду опять [назад]». Дань, которую требует Ольга, действительно, ничтожна: по три голубя и по три воробья со двора. Но когда древляне приносят требуемых птиц, воины Ольги, по приказу княгини, привязывают к каждой из них «церь [трут], обертывающе въ платкы мали, ниткою поверзывающе [привязывая] к коемуждо их». Вечером птиц отпускают на волю, и они несут на лапках зажженный трут в город: «голуби же и врабьеве полетеша в гнезда своя, голуби в

48

голубники [голубятни], врабьеве же под стрехи; и тако възгарахуся голубьници, ово клети, ово веже, ово ли одрины [сараи, сеновалы], и не бе двора, идеже не горяше».

Итак, занимательность сюжета построена на том, что читатель заодно с положительным героем обманывает (зачастую по-средневековому жестоко и коварно) врага, до последнего момента не подозревающего о своей гибельной участи.

Важно и другое: живость, естественность рассказа достигается не только непременным введением в него диалога персонажей, но и детальным, скрупулезным описанием каких-либо деталей, что сразу вызывает у читателя конкретный зрительный образ. Обратим внимание, как подробно рассказывается о способе, каким трут прикреплялся к ногам птиц, как перечисляются различные постройки, которые «возгорешася» от вернувшихся в гнезда и под стрехи (опять конкретная деталь) воробьев и голубей.

Все те же, уже знакомые нам черты эпического предания встречаем мы и в рассказе об осаде печенегами Белгорода, читающемся в «Повести временных лет» под 997 г. В осажденном городе начался голод. Собравшись на вече, горожане решили сдаться на милость врагам: «Въдадимся печенегом, да кого живять, кого ли умертвять; уже бо помираем от глада». Но один из старцев не присутствовал на вече и, узнав о решении народа, предложил свою помощь. По приказу старика было выкопано два колодца, горожане собрали по горстям немного овса, пшеницы и отрубей, раздобыли меда из княжеской медуши (кладовой), и из этих припасов приготовили «цеж», из которого варят кисель, и сыту — напиток из разбавленного водой меда. Все это влили в кадки, установленные в колодцах. Затем в город были приглашены печенежские послы. И горожане сказали им: «Почто губите себе? Коли [когда же] можете престояти нас? Аще стоите за 10 лет, что можете створити нам? Имеем бо кормлю от земле. Аще не веруете, да узрите своима очима». И далее — снова с подробностями — рассказывается, как печенегов привели к колодцам, как черпали из них цеж и сыту, варили кисель и угощали послов. Печенеги поверили в чудо и сняли осаду с города.

Мы рассмотрели лишь некоторые рассказы фольклорного происхождения. К ним относятся также предание о смерти Олега, послужившее основой сюжета для пушкинской «Песни о вещем Олеге», рассказ о юноше-кожемяке, победившем печенежского богатыря, и некоторые другие.

Но в летописи мы встречаем и другие рассказы, сюжетами которых явились те или иные частные факты. Таково, например, сообщение о восстании в Ростовской земле, возглавлявшемся волхвами, рассказ о том, как некий новгородец гадал у кудесника (оба — в статье 1071 г.), описание перенесения мощей Феодосия Печерского (в статье 1091 г.). Подробно повествуется о некоторых исторических событиях, причем это именно рассказы, а не просто подробные сюжетные записи. Д. С. Лихачев, например, обратил внимание на сюжетность летописных «повестей о княжеских преступлениях»[49][15]. В «Повести временных лет» к их числу относится рассказ об ослеплении Василька Теребовльского в статье 1097 г.

Что же отличает подобные рассказы от погодных записей? Прежде всего — организация сюжета. Рассказчик подробно останавливается на отдельных эпизодах, которые приобретают особый смысл для идеи всего повествования. Так, рассказывая об ослеплении Василька Теребовльского — событии, приведшем к длительной междоусобной войне, в которую были втянуты многие русские князья, летописец всеми средствами стремится обличить преступников: киевского князя Святополка Изяславича и волынского князя Давида Игоревича.

Этот эпизод русской истории заключается в следующем. В 1097 г. князья собрались в г. Любече на снем (съезд), где порешили жить в единомыслии («имемся в едино сердце») и строго соблюдать принцип: «кождо да держит отчину свою». Но когда князья стали разъезжаться по своим уделам, свершилось неслыханное доселе (как утверждает летописец) «зло». Бояре оклеветали перед Давыдом Игоревичем (князем Владимира-Волынского)

Василька Ростиславича, князя Теребовльского. Они убедили своего сюзерена, что Василько сговорился с Владимиром Мономахом напасть на него, Давыда, и на киевского князя Святополка. Летописец, правда, объясняет наговор происками дьявола, который, опечаленный только что провозглашенной дружбой князей, «влезе» в сердце «некоторым мужем», но так или иначе Давыд им поверил и убедил в этом же Святополка. Князья уговаривают Василька по пути в родной свой удел задержаться и погостить у них в Киеве. Василько сначала отказывается, но потом уступает их просьбам.

Летописец нарочито подробно (при обычном лаконизме летописного повествования!), описывает, как развивались дальнейшие события. Вот три князя сидят у Святополка в избе и беседуют. При этом Давыд, сам же убеждавший пленить Василька, не может сдержать волнения: он «седяше акы нем». Когда же Святополк выходит, якобы для того, чтобы распорядиться о завтраке, и Давыд остается с Васильком, то беседа вновь не клеится: «И нача Василко глаголати к Давыдови, и не бе в Давыде гласа, ни послушанья [как бы не мог ни говорить, ни слушать]: бе бо ужаслъся [пришел в ужас] и лесть имея в сердци». Давыд не выдерживает и спрашивает слуг: «Кде есть брат?». Они отвечают: «Стоить на сенех». И, встав, Давыд рече: «Аз иду по нь, а ты, брате, поседи». И, встав, иде вон». Едва вышел Давыд, избу заперли, а Василька заковали. Наутро, посовещавшись с киевлянами, Святополк приказывает увезти Василька в городок Белгород под Киевом и там, по совету Давыда, ослепить его. Со всеми подробностями описывается, как княжеские слуги с трудом одолевают могучего и отчаянно сопротивлявшегося князя...

Но вернемся к изложенному выше эпизоду беседы князей. Он примечателен тем, что здесь летописец умело передает не только действия (их-то почти и нет), а именно душевное состояние заговорщиков, и особенно Давыда Игоревича. Этот психологизм, в общем весьма редкий для древнерусской литературы старшего периода, говорит и о больших художественных возможностях, и о литературном умении древнерусских книжников; возможности эти и это умение давали о себе знать, как только для того представлялся достаточный повод, когда нужно было создать определенное отношение читателя к описываемому. В этом случае летописец отступал от традиции, от канона, от обычного бесстрастного, этикетного изображения действительности, которое в целом присуще летописному повествованию.

Именно в «Повести временных лет», как ни в какой другой летописи, часты сюжетные рассказы (мы не говорим о вставных повестях в летописях XV-XVI вв.). Если брать летописание XI-XVI вв. в целом, то для летописи как жанра характернее определенный литературный принцип, выработанный уже в XI-XIII вв. и получивший у исследовавшего его Д. С. Лихачева название «стиля монументального историзма»[50][16].

Монументальный историзм пронизывает всю культуру Киевской Руси; его отражение в литературе, а еще более узко — в летописании является только частным, конкретным его воплощением.

По представлениям летописцев, история — это книга человеческого бытия, в значительной степени уже написанная заранее, предначертанная божественным промыслом. Вечна в мире борьба добра и зла, вечной оказывается и ситуация, когда народ пренебрегает своими обязанностями перед богом, нарушает его «заветы» и бог наказывает непокорных — мором, голодом, «нахожением иноплеменников» или даже полной гибелью государства и «расточением» народа. Поэтому летопись вся полна аналогиями, широкими историческими перспективами, событийная канва предстает в ней лишь как частные проявления упомянутых «вечных» коллизий. Поэтому в летописи говорится о главных героях этой исторической мистерии — царях, князьях, воеводах и о главных, отвечающих их положению в обществе функциях. Князь изображается по преимуществу в самые центральные моменты своей деятельности — при вступлении на престол, во время битв или дипломатических акций; смерть князя — своеобразный итог его деятельности, и летописец стремится выразить этот итог в церемониальном посмертном некрологе, в котором перечисляются доблести и

славные деяния князя, при этом именно те его добродетели, которые приличествуют ему как князю и христианину. Церемониальность изображения требует соблюдения этикета словесного выражения. Нарисованная здесь картина — идеал, своего рода идеологическое и эстетическое кредо древнерусских авторов. Мы видели при анализе «Повести временных лет», что летописец зачастую (и именно в «Повести временных лет» в отличие от последующих летописных сводов) переступает это кредо, то давая дорогу сюжетам исторических преданий, то предлагая занимательные рассказы очевидцев, то сосредоточиваясь на изображении отдельных, наиболее значительных исторических эпизодов. В этих случаях церемониальность также отступала перед напором действительности, как мы видели это в рассказе об ослеплении Василька Теребовльского.

Но если оставить в стороне эти нарушения правил, эти примеры литературной свободы, которые позволяли себе летописцы, создатели «Повести временных лет» и предшествовавших ей сводов, то в целом летопись — это жанр, в котором в наибольшей степени отразились основные, магистральные положения стиля монументального историзма.

«Повесть временных лет» не осталась только памятником своего времени. С «Повести» начинались почти все летописные своды последующих веков, хотя, разумеется, в сокращенных сводах XV-XVI вв. или в местных летописцах древнейшая история Руси представала в виде кратких выборок о главнейших событиях. И тем не менее история в них начиналась с самого начала, историческая преемственность продолжала осознаваться русскими книжниками вплоть до XVII в.

В XI — начале XII в. создаются первые русские жития: два жития Бориса и Глеба, «Житие Феодосия Печерского», «Житие Антония Печерского» (до нового времени не сохранившееся). Их написание было не только литературным фактом, но и важным звеном в идеологической политике Русского государства. В это время русские князья настойчиво добиваются у константинопольского патриарха прав на канонизацию своих, русских святых, что существенно повысило бы авторитет русской церкви. Создание жития являлось непременным условием канонизации святого.

Мы рассмотрим здесь одно из житий Бориса и Глеба — «Чтение о житии и о погублении» Бориса и Глеба[51][17] и «Житие Феодосия Печерского». Оба жития написаны Нестором. Сопоставление их особенно интересно, поскольку они представляют два агиографических типа — жития-мартирия (рассказа о мученической смерти святого) и монашеского жития, в котором повествуется о всем жизненном пути праведника, его благочестии, аскетизме, творимых им чудесах и т. д. Нестор, разумеется, учитывал требования византийского агиографического канона. Не вызывает сомнения и то, что он знал переводные византийские жития. Но при этом он проявил такую художественную самостоятельность, такой незаурядный талант, что уже создание этих двух шедевров делает его одним из выдающихся древнерусских писателей независимо от того, является ли он также составителем «Повести временных лет» (этот вопрос остается пока спорным).

«Чтение о Борисе и Глебе». Помимо двух житий, судьбе сыновей киевского князя Владимира Святославича — Бориса и Глеба посвящена также небольшая статья в «Повести временных лет», анализом которой целесообразно предварить анализ «Чтения» Нестора.

В статье 1015 г. «Повести временных лет» рассказывается о том, что киевский князь Владимир, собравшийся выступить в поход против напавших на Русь печенегов, разболелся. Он посылает во главе своей дружины своего сына Бориса. В отсутствие Бориса старый князь умирает. Летописец приводит традиционную некрологическую похвалу умершему князю и затем переходит к повествованию о судьбе его сыновей (в Лаврентьевской летописи оно выделено особым заголовком: «О убьеньи Борисове»). Приведем начало летописного рассказа.

«Святополк же седе Кыеве по отци своемь, и съзва кыяны, и нача даяти им именье. Они же приимаху, и не бе [не было] сердце их с ним, яко братья их беша с Борисомь. Борису

51

же възъвратившюся с вой, не обретшю печенег, весть приде к нему: «Отець ти умерл». И плакася по отци велми, любим бо бе отцемь своимь паче [больше] всех, и ста на Л ьте [на реке Альте, под Киевом] пришед. Реша же ему дружина отня: «Се, [вот] дружина у тобе отьня и вой. Пойди, сяди Кыеве на столе отни». Он же рече: «Не буди мне възняти рукы на брата своего старейшаго: аще [если] и отець ми умре, то сь ми буди в отца место». И се слышавше, вой разидошася от него. Борис же стояше с отрокы [младшей дружиной] своими».

Далее говорится, что Святополк, замыслив убить Бориса, хочет убедить его в своем расположении: «С тобою хочю любовь имети, и к отню придамь ти [добавлю к тому уделу, к тому имуществу, которым ты владел при жизни отца]». Сам же Святополк «приде ночью Вышегороду [городок под Киевом], отай [тайно] призва Путшю и вышегородьскые болярьце, и рече им: «Прияете ли ми всем сердцемь?» Рече же Путьша с вышегородьци: «Можем главы своя сложити за тя». Он же рече им: «Не поведуче никомуже, шедше, убийте брата моего Бориса». Они же вскоре обещашася ему се створити».

Мы, разумеется, не сможем ставить вопрос о том, насколько сюжет летописного рассказа соответствовал действительным событиям, и хорошо понимаем, что диалог Бориса с дружиной или Святополка с вышегородскими боярами — литературный прием, домысел летописца. И тем не менее в сопоставлении с приведенным отрывком нарочитая условность «Чтения о Борисе и Глебе» бросается в глаза и позволяет наглядно представить специфику агиографического изложения.

«Чтение» открывается пространным введением, в котором излагается вся история человеческого рода: сотворение Адама и Евы, их грехопадение, обличается «идолопоклонство» людей, вспоминается, как учил и был распят Христос, пришедший спасти род человеческий, как стали проповедовать новое учение апостолы и восторжествовала новая вера. Лишь Русь оставалась «в первой [прежней] прелести идольской [оставалась языческой]». Владимир крестил Русь, и этот акт изображается как всеобщее торжество и радость: радуются люди, спешащие принять христианство, и ни один из них не противится и даже не «глаголет» «вопреки» воле князя, радуется и сам Владимир, видя «теплую веру» новообращенных христиан. Такова предыстория злодейского убийства Бориса и Глеба Святополком.

Святополк помышляет и действует по козням дьявола. «Историографическое» введение в житие отвечает представлениям о единстве мирового исторического процесса: события, происшедшие на Руси, лишь частный случай извечной борьбы бога и дьявола, и каждой ситуации, каждому поступку Нестор подыскивает аналогию, прообраз в прошлой истории. Поэтому решение Владимира крестить Русь приводит к сопоставлению его с Евстафием Плакидой (византийским святым, о житии которого речь шла выше) на том основании, что Владимиру, как «древле Плакиде», бог «спону (в данном случае — *болезнь*)[52] [18] некаку наведе», после чего князь решил креститься. Владимир сопоставляется и с Константином Великим, которого христианская историография почитала как императора, провозгласившего христианство государственной религией Византии. Бориса Нестор сравнивает с библейским Иосифом, пострадавшим из-за зависти братьев, и т. д.

Характеры персонажей также традиционны. В летописи ничего не говорится о детстве и юности Бориса и Глеба. Нестор же, согласно требованиям агиографического канона, повествует, как еще отроком Борис постоянно читал «жития и мучения святых» и мечтал сподобиться такой же мученической кончины.

Летопись не упоминает о браке Бориса. У Нестора же присутствует традиционный мотив — будущий святой стремится избежать брака и женится лишь по настоянию отца: «не похоти ради телесныя», а «закона ради цесарьскаго и послушания отца».

Далее сюжеты жития и летописи совпадают. Но как отличаются оба памятника в трактовке событий! В летописи рассказывается, что Владимир посылает Бориса со своими воинами против печенегов, в «Чтении» говорится отвлеченно о неких «ратных» (то есть

52

врагах, противнике), в летописи Борис возвращается в Киев, так как не «обрел» (не встретил) вражеское войско, в «Чтении» враги обращаются в бегство, так как не решаются «стати против блаженного».

В летописи проглядывают живые человеческие отношения: Святополк привлекает киевлян на свою сторону тем, что раздает им дары («именье»), их берут неохотно, так как в войске Бориса находятся те же киевляне («братья их») и — как это совершенно естественно в реальных условиях того времени — киевляне опасаются братоубийственной войны: Святополк может поднять киевлян против их родичей, ушедших в поход с Борисом. Наконец, вспомним характер посулов Святополка («к огню придам ти») или переговоры его с «вышегородскими боярами». Все эти эпизоды в летописном рассказе выглядят очень жизненно, в «Чтении» они совершенно отсутствуют. В этом проявляется диктуемая каноном литературного этикета тенденция к абстрагированности. Агиограф стремится избежать конкретности, живого диалога, имен (вспомним — в летописи упоминаются река Альта, Вышгород, Путша, — видимо, старейшина вышгородцев и т. д.) и даже живых интонаций в диалогах и монологах.

Когда описывается убийство Бориса, а затем и Глеба, то обреченные князья только молятся, причем молятся ритуально: либо цитируя псалмы, либо — вопреки какому бы то ни было жизненному правдоподобию — торопят убийц «скончать свое дело».

На примере «Чтения» мы можем судить о характерных чертах агиографического канона — это холодная рассудочность, осознанная отрешенность от конкретных фактов, имен, реалий, театральность и искусственная патетика драматических эпизодов, наличие (и неизбежное формальное конструирование) таких элементов жития святого, о каких у агиографа не было ни малейших сведений: пример тому — описание детских лет Бориса и Глеба в «Чтении».

Представляется весьма убедительной позиция тех исследователей, которые видят в анонимном «Сказании о Борисе и Глебе» памятник, созданный после «Чтения»; по их мнению, автор «Сказания» пытается преодолеть схематичность и условность традиционного жития, наполнить его живыми подробностями, черпая их, в частности, из первоначальной житийной версии, которая дошла до нас в составе летописи. Эмоциональность в «Сказании» тоньше и искреннее, при всей условности ситуации: Борис и Глеб и здесь безропотно отдают себя в руки убийц и здесь успевают долго молиться, буквально в тот момент, когда над ними уже занесен меч убийцы, и т. д., но при этом реплики их согреты какой-то искренней теплотой и кажутся более естественными. Анализируя «Сказание», известный исследователь древнерусской литературы И. П. Еремин обратил внимание на такой штрих: Глеб перед лицом убийц, «телом утерпая» (дрожа, слабея), просит о пощаде. Просит, как просят дети: «Не дейте мене... Не дейте мене!» (здесь «деяти» — трогать). Он не понимает, за что и почему должен умереть... Беззащитная юность Глеба в своем роде очень изящна и трогательна. Это один из самых «акварельных» образов древнерусской литературы»[53][19]. В «Чтении» тот же Глеб никак не выражает своих эмоций — он размышляет (надеется на то, что его отведут к брату и тот, увидев невиновность Глеба, «не погубит» его), он молится, при этом довольно бесстрастно. Даже когда убийца «ят [взял] святаго Глеба за честную главу», тот «молчаше, акы агня незлобиво, весь бо ум имяще к богу и возрев на небо моляшеся». Однако это отнюдь не свидетельство неспособности Нестора передавать живые чувства: в той же сцене он описывает, например, переживания воинов и слуг Глеба. Когда князь приказывает оставить его в ладье посреди реки, то воины «жаляще си по святомь и часто озирающе, хотяще видети, что хощеть быти святому», а отроки в его корабле при виде убийц «положьше весла, седяху сетующеся и плачющеся по святем». Как видим, поведение их куда более естественно, и, следовательно, бесстрастие, с которым Глеб готовится принять смерть, всего лишь дань литературному этикету.

После «Чтения о Борисе и Глебе» Нестор пишет «Житие Феодосия Печерского» — инока, а затем игумена прославленного Киево-Печерского монастыря. Это житие весьма

53

отличается от рассмотренного выше большим психологизмом характеров, обилием живых реалистических деталей, правдоподобием и естественностью реплик и диалогов. Если в житиях Бориса и Глеба (особенно в «Чтении») канон торжествует над жизненностью описываемых ситуаций, то в «Житии Феодосия», напротив, чудеса и фантастические видения описаны так наглядно и убедительно, что читатель как бы видит своими глазами происходящее и не может не «поверить» ему.

Едва ли эти отличия только результат возросшего литературного мастерства Нестора или следствие изменения его отношения к агиографическому канону. Причины здесь, вероятно, в другом. Во-первых, это жития разных типов. Житие Бориса и Глеба — житие-мартирий, то есть рассказ о мученической смерти святого; эта основная тема определяла и художественную структуру такого жития, резкость противопоставления добра и зла, мученика и его мучителей, диктовала особую напряженность и «плакатную» прямоту кульминационной сцены убийства: она должна быть томительно долгой и до предела нравоучительной. Поэтому в житиях-мартириях, как правило, подробно описываются истязания мученика, а его смерть происходит как бы в несколько этапов, чтобы читатель подольше сопереживал герою. В то же время герой обращается с пространными молитвами к богу, в которых раскрываются его стойкость и покорность и обличается вся тяжесть преступления его убийц.

«Житие Феодосия Печерского». «Житие Феодосия Печерского»— типичное монашеское житие, рассказ о благочестивом, кротком, трудолюбивом праведнике, вся жизнь которого — непрерывный подвиг. В нем множество бытовых коллизий: сцен общения святого с иноками, мирянами, князьями, грешниками; кроме того, в житиях этого типа обязательным компонентом являются чудеса, которые творит святой, — а это привносит в житие элемент сюжетной занимательности, требует от автора немалого искусства, чтобы чудо было описано эффектно и правдоподобно. Средневековые агиографы хорошо понимали, что эффект чуда особенно хорошо достигается при сочетании сугубо реалистических бытовых подробностей с описанием действия потусторонних сил — явлений ангелов, пакостей, чинимых бесами, видений и т. д.

Композиция «Жития» традиционна: есть и пространное вступление, и рассказ о детстве святого. Но уже в этом повествовании о рождении, детских и отроческих годах Феодосия происходит невольное столкновение традиционных штампов и жизненной правды. Традиционно упоминание благочестия родителей Феодосия, многозначительна сцена наречения имени младенцу: священник нарекает его «Феодосием» (что значит «данный богу»), так как «сердечными очами» предвидел, что тот «хощеть измлада богу датися». Традиционно упоминание о том, как мальчик Феодосии «хожаше по вся дьни в цьркъвь божию» и не подходил к играющим на улице сверстникам. Однако образ матери Феодосия совершенно нетрадиционный, полный несомненной индивидуальности. Она была физически сильной, с грубым мужским голосом; страстно любя сына, она тем не менее никак не может примириться с тем, что он — отрок из весьма состоятельной семьи — не помышляет унаследовать ее сел и «рабов», что он ходит в ветхой одежде, наотрез отказываясь надеть «светлую» и чистую, и тем наносит поношение семье, что проводит время в молитвах или за печением просфор. Мать не останавливается ни перед чем, чтобы переломить экзальтированную благочестивость сына (в этом и парадокс — родители Феодосия представлены агиографом как благочестивые и богобоязненные люди!), она жестоко избивает его, сажает на цепь, срывает с тела отрока вериги. Когда Феодосию удается уйти в Киев в надежде постричься в одном из тамошних монастырей, мать объявляет большое вознаграждение тому, кто укажет ей местонахождение сына. Она обнаруживает его, наконец, в пещере, где он подвизается вместе с Антонием и Никоном (из этого обиталища отшельников вырастает впоследствии Киево-Печерский монастырь). И тут она прибегает к хитрости: она требует у Антония показать ей сына, угрожая, что в противном случае «погубит» себя «перед дверьми печеры». Но, увидев Феодосия, лицо которого «изменилося от многого его труда и въздержания», женщина не может больше гневаться: она, обняв сына,

«плакашеся горько», умоляет его вернуться домой и делать там, что захочет («по воли своей»). Феодосии непреклонен, и по его настоянию мать постригается в одном из женских монастырей. Однако мы понимаем, что это не столько результат убежденности в правильности избранного им пути к богу, а скорее поступок отчаявшейся женщины, понявшей, что, лишь став инокиней, она сможет хотя бы изредка видеть сына.

Сложен и характер самого Феодосия. Он обладает всеми традиционными добродетелями подвижника: кроток, трудолюбив, непреклонен в умерщвлении плоти, исполнен милосердия, но когда в Киеве происходит между княжеская распря (Святослав сгоняет с великокняжеского престола своего брата — Изяслава Ярославича), Феодосии активно включается в сугубо мирскую политическую борьбу и смело обличает Святослава.

Но самое замечательное в «Житии» —это описание монастырского быта и особенно творимых Феодосием чудес. Именно здесь проявилась та «прелесть простоты и вымысла» легенд о киевских чудотворцах, которой так восхищался А. С. Пушкин[54][20].

Вот одно из таких чудес, творимых Феодосием. К нему, тогда уже игумену Киево-Печерского монастыря, приходит старший над пекарями и сообщает, что не осталось муки и не из чего испечь братии хлебы. Феодосии посылает пекаря: «Иди, съглядай в сусеце, еда како мало муки обрящеши в нем...» Но пекарь помнит, что он подмел сусек и замел в угол небольшую кучку отрубей — с три или четыре пригоршни, и поэтому убежденно отвечает Феодосию: «Истину ти вещаю, отьче, яко аз сам пометох сусек тот, и несть в немь ничьсоже, разве мало отруб в угле единомь». Но Феодосии, напомнив о всемогуществе бога и приведя аналогичный пример из Библии, посылает пекаря вновь посмотреть, нет ли муки в сусеке. Тот отправляется в кладовую, подходит к сусеку и видит, что сусек, прежде пустой, полон муки.

В этом эпизоде все художественно убедительно: и живость диалога, и эффект чуда, усиленный именно благодаря умело найденным деталям: пекарь помнит, что отрубей осталось три или четыре пригоршни, — это конкретно зримый образ и столь же зримый образ наполненного мукой сусека: ее так много, что она даже пересыпается через стенку на землю.

Очень живописен следующий эпизод. Феодосии задержался по каким-то делам у князя и должен вернуться в монастырь. Князь приказывает, чтобы Феодосия подвез в телеге некий отрок. Тот же, увидев монаха в «убогой одежде» (Феодосии, и будучи игуменом, одевался настолько скромно, *что* не знавшие его принимали за монастырского повара), дерзко обращается к нему: «Чьрноризьче! Се бо ты по вься дьни пороздьнъ еси, аз же трудьн сый [вот ты все дни бездельничаешь, а я тружусь]. Не могу на кони ехати. Но сице сътвориве [сделаем так]: да аз ти лягу на возе, ты же могый на кони ехати». Феодосии соглашается. Но по мере приближения к монастырю все чаще встречаются люди, знающие Феодосия. Они почтительно кланяются ему, и отрок понемногу начинает тревожиться: кто же этот всем известный монах, хотя и в убогой одежде? Он совсем приходит в ужас, когда видит, с каким почетом встречает Феодосия монастырская братия. Однако игумен не упрекает возницу и даже велит его накормить и заплатить ему.

Не будем гадать, был ли такой случай с самим Феодосием. Несомненно другое — Нестор мог и умел описывать подобные коллизии, это был писатель большого таланта, и та условность, с которой мы встречаемся в произведениях древнерусской литературы, не является следствием неумения или особого средневекового мышления. Когда речь идет о самом понимании явлений действительности, то следует говорить лишь об особом х у д о ж е с т в е н н о м мышлении, то есть о представлениях, как следует изображать эту действительность в памятниках определенных литературных жанров.

В течение последующих веков будут написаны многие десятки различных житий — велеречивых и простыв примитивных и формальных или, напротив, жизненных и искренних. О некоторых из них нам придется говорить в дальнейшем. Нестор же был одним из первых

54

русских агиографов, и традиции его творчества найдут продолжение и развитие в сочинениях его последователей.

«Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» — самое значительное произведение литературы Киевской Руси. И в то же время это памятник исключительно сложной судьбы. Единственный дошедший до нового времени список «Слови» погиб в 1812 г., и это обстоятельство привело к тому, что не раз возникали сомнения в древности «Слова» или даже утверждения, что этот памятник всего лишь гениальная имитация под старину, произведение XVIII в., автором которого является или еще не открытый нами гений, или, напротив, известное лицо, например Иоиль Быковский, архимандрит Спасо-Ярославского монастыря.

«Слово», казалось бы, досконально изучено, ему посвящены сотни статей и исследований, однако ученее продолжают ставить новые вопросы, еще подлежащие разработке и требующие дополнительных разысканий.

С одной стороны, специалисты-филологи, отечественные и зарубежные, поэты-переводчики «Слова» и просто любители памятника не перестают восхищаться его художественным совершенством, а с другой — постоянно звучат сетования на «испорченность» текста «Слова», не иссякает поток предлагаемых поправок, дополнений или перестановок в его тексте.

Литература о «Слове о полку Игореве» огромна. В последние годы вышли две книги Д. С. Лихачева, в которых анализируется идейное содержание памятника, система его образов, особенности его поэтики[55][21]. На фоне культуры XII в. рассматривает «Слово» в своей книге Е. Осетров[56][22]. Выход этих книг, рассчитанных не только на специалистов, но и на широкого читателя, делает излишним возвращение ко всем разнообразным проблемам изучения «Слова» в данной работе. Мы ограничимся поэтому лишь некоторыми вопросами. Во-первых, представляется целесообразным вновь подытожить ту обширную аргументацию, которая позволяет нам сейчас с непоколебимой уверенностью говорить о «Слове» как о памятнике древнерусской литературы XII в. Доказательства. подлинности и древности «Слова» — это одновременно чрезвычайно благодарный материал, на котором можно познакомить читателя с приемами филологических исследований древнерусских текстов. Во-вторых, коснемся трех вопросов, которые продолжают интенсивно изучаться именно в последние годы: о жанре «Слова», о времени его создания, об авторе «Слова». Все эти проблемы оказываются самым теснейшим образом связанными с вопросом об идейном содержании «Слова», ибо оно приобретает новые, дополнительные черты в зависимости от того, когда и для чего был написан этот памятник.

Проблема датировки «Слова» и его подлинности. Неверно думать, что можно глубоко понять смысл и художественные особенности древнерусского памятника, изучая его сам по себе, имея под рукой лишь словарь древнерусского языка и курс исторической грамматики. В действительности же понять древнерусский памятник можно, только обладая глубокими (а не элементарными) знаниями истории языка, палеографии, истории той эпохи, когда памятник был создан, и той, о которой он повествует, широкой начитанностью в древнерусской литературе, знаниями законов и приемов древнерусской поэтики, сведениями о методах работы древнерусских книжников. Помимо всего этого, необходимо владеть методикой научного исследования.

Можно без преувеличения сказать, что методика современного филологического исследования памятников древнерусской литературы во многом была отработана и выверена именно на исследовании «Слова о полку Игореве», подобно тому как методика текстологического исследования вырабатывалась в ходе изучения русского летописания.

Именно применение всей этой сложной суммы знаний и фактов в сочетании с методологической и методической вооруженностью и позволяет нам с уверенностью говорить о древности (и соответственно — о подлинности) «Слова о полку Игореве».

55

56

«Слово о полку Игореве» посвящено историческому событию — походу князя Игоря Святославича Новгород-Северского на половцев в 1185 г. События этого похода подробно изложены в южнорусской летописи (вошедшей в состав Ипатьевской летописи, старший список которой датируется первой четвертью XV в.)[57][23] и значительно короче (к тому же с рядом фактических неточностей) в летописях Владимиро-Суздальской Руси, отраженных в Лаврентьевской, Радзивиловской и других летописях[58][24].

Однако «Слово» — не историческая повесть. Оно не ставит своей целью подробно и последовательно охарактеризовать всю историю злосчастного похода Игоря, бедствий Руси во время ответного набега половцев, обстоятельства побега князя из половецкого плена и т. д. Цель автора иная — осмыслить происшедшие события на широком фоне русской истории двух столетий, осмыслить и вынести свое суждение о половецкой опасности, о политике князей, о понятии княжеского долга и княжеской чести в конкретной обстановке русской истории конца XII в. Совершенно справедлива известная оценка «Слова» К. Марксом, видевшим в нем «призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ»[59][25].

Но несмотря на свой оценочный, а не историко-описательный характер, «Слово» насыщено разнообразнейшим историческим материалом, далеко выходящим за рамки фактической канвы самих событий 1185 г. При этом в памятнике достаточно много намеков, фактов, имен, которые ставят в туник современных комментаторов, хотя, несомненно, они были понятны современникам похода. Поясним эту мысль подробнее.

В результате скрупулезных разысканий, сравнения рассеянных в разных летописях фактов, после составления генеалогических таблиц, — словом, после специальной исследовательской работы мы смогли в конце концов прокомментировать и объяснить большинство таких фактов, имен и исторических ассоциаций. Но ведь «Слово» не научный трактат, а произведение, рассчитанное на мгновенное восприятие на слух (или при чтении). Рядом с чтецом (если допустить, например, публичное чтение «Слова» в княжеском кругу) не мог же стоять ученый историограф-комментатор, по ходу чтения толкующий текст. Все эти исторические или, правильнее сказать, политические экскурсы были рассчитаны на современников, понимавших их с полуслова, как во время Великой Отечественной войны не требовали даже в бытовом разговоре пояснения имена выдающихся военачальников, героев-фронтовиков, писателей или артистов, пользовавшихся широкой известностью в те годы. Эта привязанность «Слова» к исторической обстановке XII в. — один из важнейших аргументов в пользу его древности, при этом древности в узком смысле слова, ограниченной десятилетием-двумя от событий Игорева похода. Но обратимся к примерам.

В «Слове» мы читаем: «Се у Римъ кричать подъ саблями Половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глѣбову!»[60][26]. Как же поняли эту фразу первые издатели, специально комментировавшие текст «Слова»? Они воспроизвели начало фразы как: «Се Уримъ кричать...» и к слову «Урим» сделали следующее примечание: «Один из воевод или союзников князя Игоря, в сем сражении участвовавший». Про Владимира же они писали: «Кого сочинитель сей поэмы разумеет под именем сына Глебова, решительно сказать нельзя, ибо из современников сему происшествию сыновья, от князей Глебовых рожденные, были: Владимир, сын Глеба Юрьевича, княжившего в Переяславле, Ростислав, сын князя Глеба Всеславича, княжившего в Полоцке, Роман, сын князя Глеба Ростиславича, княжившего в Рязани»[61][27]. Достаточно, однако, внимательно прочитать летописный рассказ о событиях 1185 г., чтобы понять, что речь идет о городе Римове, захваченном Кончаком (жители его, как сказано в летописи, «вси взяти быша» в плен), и Владимире Глебовиче, который, обороняя свой Переяславль, был «язвен» тремя копьями.

57
58
59
60
61

Итак, автор «Слова» упомянул события, хорошо знакомые его слушателям и читателям, его современникам, а ученые-комментаторы не смогли сразу понять смысл этой лаконичной фразы.

Автор «Слова», имея в виду поход Всеволода Большое Гнездо на волжских болгар, восклицает: «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити...» (с. 51). А издатели в комментарии предположили, что речь здесь идет о Всеволоде Ольговиче, отце Святослава Киевского.

Автор «Слова» был человеком XII в. не только в своей осведомленности, но и по своему мировоззрению. Эта черта памятника подробна рассматривалась Д. С. Лихачевым[62][28]; этой же точки зрения придерживается и А. Н. Робинсон, считающий, что употребление и истолкование в «Слове» понятия «Русская земля» также «служит одним из свидетельств подлинности и древности этого великого поэтического памятника»[63][29].

Но, разумеется, самым надежным аргументом в пользу древности «Слова» являются факты отражения «Слова» в памятниках древнерусской письменности.

«Слово» отразилось в приписке 1307 г. на рукописи «Апостола», в Степенной книге, в поздних переделках «Повести об Акире Премудром» и в одной из редакций «Сказания о битве новгородцев с суздальцами». Однако решающим являются соотношения «Слова» и «Задонщины» — памятника, воспевающего победу русских над Мамаем в Куликовской битве в 1380 г. О том, когда была создана «Задонщина» — непосредственно после битвы или несколько десятилетий спустя, идут споры, но для нас достаточен тот бесспорный факт, что старший из сохранившихся ее списков датируется концом XV в., и, следовательно, раз «Слово» явилось источником «Задонщины», то оно не могло быть написано позднее этого времени.

На несомненное сходство «Задонщины» со «Словом» обратили внимание еще в середине XIX в., как только были обнаружены первые ее списки. Находка «Задонщины» сразу же показала всю несостоятельность рассуждений о позднем происхождении «Слова». Однако французский ученый Луи Леже выдвинул гипотезу, что все могло произойти и иначе: на основании «Задонщины» неизвестный автор мог создать «Слово о полку Игореве». Поэтому встал вопрос о соотношении этих двух памятников: какой же из них был объектом подражания?

У этой проблемы есть по крайней мере две стороны. Во-первых, если допустить вторичность «Слова», то окажется, что кто-то, обнаружив список «Задонщины», повествующей о победе Дмитрия Донского над татарами, решил скрыть находку этого патриотического памятника[64][30] и использовать его лишь как материал для создания рассказа о поражении малоизвестного удельного князя в борьбе с половцами. Уже этот факт скептикам объяснить трудно. Но это еще не все. Почему на основании «Задонщины» была создана повесть именно о походе Игоря, а не о каком-либо ином, победоносном походе русских князей? «Задонщину» с летописным рассказом о походе Игоря связывает одна единственная фактическая нить — в «Задонщине» упомянута река Каяла (причем упомянута лишь в одном из шести известных нам списков — списке Ундольского). Итак, путь должен был быть таким: получив в свое распоряжение список с упоминанием Каялы (но не список Ундольского, а список, наиболее близкий к авторскому тексту «Задонщины» и ныне утраченный), мнимый автор «Слова» должен был обнаружить единственное упоминание той же реки в летописи: название Каялы встречается только в одной летописи (Ипатьевской), открытой для науки лишь в 1808 г. Причем автор «Задонщины» сделал все возможное, чтобы запутать своего подражателя XVIII в. : во всех списках ее читается: «Те бо [татары. — *О. Т.*] на реке на Каяле одолеша род Афетов [русские считались потомками библейского персонажа, сына Ноя Иафета]. И оттоля Русская земля седит невесела, а от Калатьския рати до Мамаева побоища тугою и печалью покрышася...» и далее: «А от Калатьские рати до Мамаева побоища 170 лет». В других списках говорится — 160 лет, но все равно очевидно,

62

63

64

что речь в «Задонщине» идет о битве на Калке, состоявшейся в 1223 г. (расчет лет немного не точен). Значит, мнимый автор «Слова» в XVIII в. должен был пренебречь указанием своего источника и искать в летописи вовсе не описание битвы на Калке, а событие, происшедшее за тридцать восемь лет до этого, — битву на Каяле.

Но, пожалуй, решающим оказывается другой факт, явление, которое можно назвать инерцией подражания. Суть его в следующем. «Задонщина», подражая «Слову», очень часто использовала те или иные фразы и образы «Слова», входя в противоречие с логикой и даже смыслом собственного сюжета и текста.

Приведу лишь три примера.

Вспомним начало «Слова»: «Не лъпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестии о пълку Игореве, Игоря Святъславлича?» (с. 43). В «Задонщине» (по списку Ундольского) сходно: «Лудчи бо нам, брате, начати поведати иными словесы о [в рукописи «от»] похвальных сих и о нынешных повестех о полку [в рукописи «похвалу», в другом списке «от полку»] великого князя Дмитрея Ивановича...» Разве не чувствуется перекличка «Задонщины» со своим «оригиналом»? В «Слове — «не лепо ли», в «Задонщине» — «лудчи», в «Слове» — «старыми словесы», в «Задонщине» — «иными», «трудных повестий» — «о похвальных и о нынешних повестях». Без сравнения со «Словом» начало «Задонщины» окажется непонятным, своего рода «темным местом».

Другой пример. В «Слове» описываются сборы в поход. «Трубы трубять въ Новеграде, стоять стязи въ Путивле» (с. 44). В «Задонщине», в контексте, параллельном «Слову», говорится: «трубы трубят на Коломне... стоят стязи у Дону у великого на брези» (по списку Исторического музея; Музейское собр., № 2060). Почему стязи стоят у Дона, когда описываются сборы русского войска в Москве? Непонятно, если не видеть здесь результат механического подражания «Слову».

И еще один, не менее эффектный пример. В «Задонщине». приводится плач жен русских воинов на «заборолах» Москвы, а затем плач жен в Коломне, в котором, в частности, есть обращение к великому князю с призывом запрудить Днепр и вычерпать шлемами Дон. Между этими двумя плачами помещена странная фраза, которая лучше всего читается в списке Музейского собрания, № 3045, по которому и приведены два интересующих нас фрагмента[65][31]:

«А уже диво кличет под саблями татарьскими, а тем рускым богатырем под ранами». Далее следует плач коломенских жен и обращение: «Можеши ли тамо, господине княз великий, веслы Непру запрудити, а Дон шоломы вычерпати...» Здесь весьма неожиданно упомянут Днепр[66][32], но обратим внимание также на последовательность фрагментов и сравним их с текстом «Слова». Там, в обращении к князьям, читается следующий текст (интересующие нас места выделены курсивом):

«Се у Римъ *кричать подъ саблями Половецкими,* а Володимиръ *подъ ранами.* Туга и тоска сыну Глебову!»

Великыи княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетети издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо *можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти»* (с. 51).

Мы видим, что последовательность эпизодов в «Слове» совершенно логична, а автор «Задонщины», завершив плач московских жен упоминанием о том, что «сподоша руские удальци з борзых коней», использовал также образ «Слова» о ранении Владимира Переяславского и под влиянием последующего текста добавил еще один плач — коломенских жен, куда и вставил обращение к Дмитрию Ивановичу, основанное на призыве «Слова» к Всеволоду Большое Гнездо.

Подобные примеры можно легко продолжить, но, думается, и приведенных достаточно, чтобы наглядно показать вторичность «Задонщины», то, что ее образная система

65

66

не более чем подражание образной системе «Слова», к тому же подражание, далеко не всегда удачное[67][33].

Рассмотрим третий аспект интересующей нас проблемы: лингвистические свидетельства древности «Слова о полку Игореве».

Начнем с пресловутого вопроса о «темных местах» памятника. Некоторым любителям «Слова», незнакомым с историей других памятников древнерусской литературы, испорченность его текста кажется исключительной, и они настойчиво ищут пути его исправления или даже пытаются реконструировать авторский текст.

Начнем с того, что текст «Слова», может быть, чуть больше испорчен, чем текст других древнерусских памятников: описки, ошибки, неясные по смыслу фразы есть во всех из них. Это и понятно: допущенная одним переписчиком ошибка вызывала или дальнейшее ухудшение текста при последующей переписке, или, что еще хуже, попытки нового осмысления, которые приводили иногда к созданию чтений, совершенно отличающихся от исходных авторских чтений. Но как поступает в таких случаях исследователь? Он сопоставляет чтения нескольких списков и, если удается, восстанавливает первоначальное чтение, прослеживает и объясняет этапы его постепенной порчи. Приведем такой пример.

В некоторых из поздних списков «Повести об Акире Премудром» есть фраза, которая, как предполагают исследователи, отражает чтение «Слова о полку Игореве»: «Коли соколъ въ мытехъ бываеть, высоко птицъ възбиваетъ, не дастъ гнезда своего въ обиду» (с. 51). В различных списках «Повести об Акире» эта фраза выглядит так: 1) «Колико же сокол трех мустии, тогда не дасть во обиду своего злата гнезда»; 2) «Коли сокол трех мытей, и тот господа не даст во обиду златаго гнезда своего»; 3) «Когда не дасться сокол трех мытей, тогда дасться вабиться з гнезда своего». Если допустить (а это в высшей степени вероятно), что все приведенные цитаты восходят в конечном счете к одному и тому же исходному чтению, то можно заметить, во-первых, как сильно разошлись между собой отдельные чтения на протяжении всего лишь вековой истории текста (все списки середины XVII — начала XVIII в.)[68][34], а во-вторых, как трудно понять смысл каждого из приведенных чтений без сравнения его с другими. В «Слове о полку Игореве», сохранившемся до нового времени в единственном списке, мы встречаемся с труднейшим положением — текстов для корректировки и сопоставления у нас нет. Но не раскрытие «темных мест» представляется главной задачей для исследователей «Слова». Важнее было исправить те ошибочные чтения, которые появились на последнем этапе переписки или даже в процессе издания «Слова», понять значение ряда редких слов памятника, рассмотреть его грамматический строй и объяснить орфографические особенности Мусин-Пушкинского списка. Все эти три задачи имеют самое непосредственное отношение к проблеме подлинности «Слова».

Исследователям «Слова» удалось установить, что издатели в ряде случаев либо добросовестно передали описки оригинала, либо, напротив, не смогли верно его прочесть (или же не заметили опечаток). Так, мы можем быть более или менее уверены, что вместо «подобию» следует читать «по дубию», вместо «отступиша» — «оступиша», вместо «одевахъте» — «одевахуть», вместо «рози нося» — «розно ся» и т. д. Издатели колебались, как передать и как прочитать сокращенные написания слов «песнь», «пяток», «рече». В отдельных случаях были неверно истолкованы ими незнакомые слова; так, не поняв слова «кметь» (воин, витязь), они напечатали: «а мои ти куряни сведоми къ мети» с переводом: «Мои курчане в цель стрелять знающи».

Однако дело было вовсе не в ошибках издателей: ряд слов и образов «Слова», действительно, редко встречается в памятниках древнерусской письменности, и для того, чтобы понять их значение, потребовались длительные поиски, сбор и анализ древнерусской лексики в картотеках и словарях, систематическое и целенаправленное обследование десятков памятников письменности и литературы. Большая заслуга в этом подборе

67

68

параллелей и аналогий принадлежала ученым Д. Н. Дубенскому, Е. В. Барсову, В. Н. Перетцу, В. П. Адриановой-Перетц и В. Л. Виноградовой[69][35].

Важность подыскания лексических параллелей к «Слову» далеко выходит за рамки простого обоснования правильности перевода и толкования текста. Дело в том, что скептики в числе своих аргументов приводили и такой: возможно ли, чтобы в Древней Руси в литературных памятниках могли появляться такие утонченные поэтические обороты, как «изронить слово», «мерить мыслью землю», «загородить полю ворота» и подобные. И вот, оказывается, что в «Шестодневе», переведенном на Руси еще в XI в., есть параллельные чтения: «Да и луны убо не мозем очима мерити, н[о] мыслью» или: «человек мерить мысльми божию силу»; в «Повести об Акире» мы встречаем выражение: «человек... изронить слово и после каеться», в памятниках XI-XIII вв. встречаются и такие словосочетания и образные выражения, параллельные чтениям «Слова», как: «въскладывая пръсты своа на живыя струны», «ум свой... от суетьных мыслей въстягая», «летая мыслью под небесем».

В. П. Адрианова-Перетц сформулировала следующее очень важное в методологическом отношении положение, имеющее прямое отношение к вопросу о подлинности «Слова»: параллели к «Слову», лексические и фразеологические, получают совершенно различный смысл в зависимости от того, каким временем датируется памятник. Если имеется в виду XII век — то параллели эти привязывают к современному языку, если перенести «Слово» в другую языковую эпоху, то все эти слова в текст памятника могли быть вставлены автором из каких-то источников: то есть для того, чтобы ввести в текст «Слова» то или иное редкое выражение, значение, метафору и не впасть при этом в анахронизм, автор должен был бы проделать фантастическую работу: найти все эти редкие слова и обороты в столь же редких памятниках древнерусской письменности старшего периода и из этого набора редких языковых элементов создать цельное, гармоничное языковое полотно. Разумеется, такая работа для автора XVIII в. была непосильной и бессмысленной, поскольку оценить все эти находки исследователи смогли бы многие десятилетия спустя после написания «Слова»[70][36].

Допустим, что гениальный мистификатор, обладавший колоссальной начитанностью в древних текстах, сумел воссоздать лексику языка XII в. А как быть с грамматикой и орфографией? Он должен был бы с той же скрупулезностью воссоздать грамматический строй и орфографию XII в. Но в «Слове» мы встречаемся с большим числом нарушений и грамматического и орфографического порядка. Скептики спешат увидеть в этом аргументы в свою пользу — ошибки и промахи фальсификатора. Однако перед нами отклонения от нормы, свойственные именно древнерусскому языку (и подтвержденные параллелями в других источниках), а орфография «Слова» — это орфография рукописей XVI в., да при этом еще, как полагают некоторые исследователи, со следами псковской рукописной традиции. Если учесть, что в XVIII в. еще не была разработана историческая грамматика русского языка, и тем более история древнерусской орфографии, легко понять, что все эти особенности орфографии «Слова» также чрезвычайно веское доказательство его подлинности.

Наконец, есть и еще одна особенность «Слова о полку Игореве», которая дает возможность судить о его принадлежности к древнерусской литературе домонгольской поры. Это поэтика памятника.

Д. С. Лихачев специально остановился на своеобразии поэтики «Слова», связанной с эстетическими представлениями XII в., в частности с поэтикой монументального историзма[71][37]. «Слову» присущи многие черты этого стиля. Это и характерное для него «ландшафтное зрение»: автор «Слова» охватывает своими призывами и обращениями самые далекие княжества, Див кличет на вершине дерева, обращаясь к обширным пространствам

69
70
71

Половецкой земли, на поле битвы у реки Каялы тучи идут «от самого моря». Это и быстрота передвижения героев как символ их власти над пространством. Типичны именно для поэтики XI-XII вв. церемониальные положения князей. Наконец, типичны для этой эпохи временные дистанции в «Слове»: оно не вспоминает событий XII в. (до похода Игоря), но зато охотно обращается к деяниям предков — дедов и прадедов.

В то же время если бы мы попытались сравнить поэтику «Слова» с поэтикой русской литературы XVIII в., с отношением русских писателей этого времени к фольклору, к древнерусскому язычеству, к приемам изображения героев и т. д., то в этом случае окажется, что «Слово» никак не может уложиться в систему эстетических представлений этого времени[72][38].

Наконец, показательным является следующий момент. Если бы мы даже допустили, что «Слово» — произведение XVIII в., вставленное неизвестным фальсификатором в подлинную древнерусскую рукопись, то здесь бы мы столкнулись с таким парадоксом. Мусин-Пушкинский сборник, по всей вероятности, представлял собой конволют, то есть состоял из двух разновременных частей. В первой части его читался хронограф XVII в. (распространенная редакция Хронографа 1617 г.), во второй — летопись и повести, в окружении которых и находилось «Слово». По орфографическим признакам можно предполагать, что эта вторая часть относилась к XVI в.

И вот что чрезвычайно важно. «Слово» находилось в кругу уникальных памятников: древнейшей редакции «Повести об Акире», первой редакции «Девгениева деяния» и первой редакции «Сказания об Индийском царстве»; при этом первая редакция «Повести об Акире» известна (помимо Мусин-Пушкинского сборника) еще лишь в трех списках, еще в одном — первая редакция «Девгениева деяния», а о существовании первой редакции «Сказания» мы знаем лишь по выпискам из нее в составе других памятников — ни одного списка этой редакции (кроме Мусин-Пушкинского) нам не известно. Следовательно, это был уникальнейший, поистине бесценный сборник, бесценный, даже если изъять из него «Слово о полку Игореве».

Допустив, что «Слово» — подделка XVIII в., мы должны будем допустить и поразительную проницательность фальсификатора: он дал в качестве оправы для своей подделки сборник редчайших произведений. Но тот же проницательный фальсификатор не заметил наличие в сборнике компрометирующего его древность хронографа XVII в.[73][39].

Думается, что все объяснимо проще и логичнее. В XVII или XVIII в. был составлен конволют (сборная рукопись): к хронографу XVII в. была приплетена другая рукопись, более древняя (предположительно XVI в.), редкая по своему составу: она содержала древнейшие редакции памятников, переведенных и распространившихся еще в киевскую пору, но очень редко встречающихся в рукописях или даже вообще неизвестных нам в других списках (как «Сказание об Индийском царстве» первой редакции и «Слово о полку Игореве»). В этом случае окажется, что для недоумений по поводу уникальности списка «Слова» нет особых оснований: столь же редки и все остальные памятники из его окружения.

Анализируя аргументы в пользу древности и подлинности «Слова», мы допускали одно упрощение: всякий раз мы как бы решали вопрос заново. Методически это неверно. Датировка памятника может быть установлена только при сходных показаниях всех данных: должно быть учтено и содержание памятника, и возможный повод его создания, и особенности его поэтики, и его язык, и его отношения с другими древнерусскими памятниками и, наконец, характер рукописи, содержавшей «Слово», и даже характер приемов его издания.

Как мы попытались показать, совокупность всех перечисленных здесь аспектов изучения памятника убедительно свидетельствует о древности «Слова», и попытки перенести его в другую эпоху не имеют ни малейших оснований.

72

73

Время и цель создания «Слова о полку Игореве». Если принадлежность «Слова» литературе Киевской Руси представляется, как мы видели выше, вполне доказанной, то по-прежнему спорной остается более точная — в пределах последних десятилетий XII в. — его датировка. Решение этого вопроса тесно связано с правильным пониманием идейного замысла памятника: намеревался ли автор «Слова» на примере неудачного похода Игоря Святославича лишь поднять вечный вопрос феодальной Руси — напомнить о необходимости совместной и согласованной борьбы с кочевниками — или же он имел в виду иную, конкретную ситуацию, побуждал князей к определенным конкретным действиям.

Б. А. Рыбаков в своем фундаментальном исследовании «Слова» приходит именно к такому выводу. Он полагает, что «Слово» — это «реальное и своевременное обращение какого-то киевлянина к тем русским князьям, которые могли и должны были летом 1185 г. спасти Южную Русь от нависшей над ней угрозы»[74][40]. Из этого следует, что «Слово» могло быть написано в 1185 г., «когда положение было до крайности обострено внешней опасностью и внутренними неладами; оно было бы уже бесполезно в 1186 г., когда о половцах ничего не было слышно... Мы должны, — продолжает Б. А. Рыбаков,— исключить не только тихий 1186 г., но и следующий (последний из возможных), 1187 г., так как в «Слове о полку Игореве» нет п р и з ы в а к Владимиру Глебовичу Переяславскому, тяжело раненному в мае—июне 1185 г. А к 1187 г. Владимир, будучи «дерз и крепок к рати», почувствовал себя в силах принять участие в походе, но 18 апреля в пути скончался»[75][41]. В другой работе Б. А. Рыбаков так представляет обстоятельства, в которых могло быть создано и обнародовано «Слово». По предположению ученого, оно, «вероятно, было сложено и исполнялось в Киеве при дворе великого князя по случаю приема необычного гостя, нуждавшегося во всеобщей поддержке, — князя Игоря, только что вернувшегося из половецкого плена»[76][42].

Гипотеза Б. А. Рыбакова заслуживает специального рассмотрения. Здесь же обратим внимание лишь на один факт, противоречащий, на наш взгляд, предполагаемой датировке. Исследователи уже отмечали как датирующий момент наличие в «Слове» диалога ханов Кончака и Гзы о судьбе сына Игоря, Владимира, оставшегося в половецком плену. Кончак говорит: «Аже соколъ къ гнезду летитъ, а ве соколца опутаеве красною дивицею». Гза, предлагавший расстрелять соколича злачеными стрелами, возражает: «Аще его опутаеве красною девицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны девице, то почнутъ наю птици бити в поле Половецкомъ». Как известно, Владимир действительно женился на дочери Кончака. Ипатьевская летопись под 1188 г. сообщает: «…приде Володимеръ ис половець с Коньчаковною, и створи свадбу Игорь сынови своему и венча его с детятем»[77][43]. Возникает вопрос: мог ли создатель «Слова» уже летом — осенью 1185 г. быть уверенным в том, что так благополучно сложится судьба Владимира после побега его отца из плена? Лаврентьевская летопись, сведениями которой мы, впрочем, не всегда можем доверять, так как обстоятельства похода Игоря изложены в ней тенденциозно, утверждает, что после побега князя оставшиеся пленники «держими бяху твердо и стрегоми и потвержаеми многими железы и казньми»[78][44].

Итак, Б. А. Рыбаков в своей датировке опирается как на показания самого «Слова», так и на посылку, что страстная публицистичность памятника свидетельствует о его приуроченности каким-то важным политическим обстоятельствам. На той же методологической позиции стоит и Н. С. Демкова, пришедшая, однако, к выводу, что «Слово» могло быть написано в 1194-1196 гг.

«Художественная характеристика Святослава Киевского, — отмечает Н. С. Демкова, — отличается от характеристики других, здравствующих князей. Основной прием описания

74
75
76
77
78

Святослава — эпическое преувеличение, и в этом отношении образ Святослава очень близок таким давно умершим героям «Слова», как Всеслав Полоцкий, Олег Гориславич, Ярослав Осмомысл, чьи характеристики завершены, закончены (в отличие от Игоря, Всеволода, Рюрика и других).

Гиперболизация мощи Святослава, которой тот в действительности не обладал, напоминает принцип создания посмертной княжеской похвалы в летописи и кажется ретроспективной»[79][45]. Образы сна Святослава, по мнению исследовательницы, также напоминают о смерти великого князя. Все это может указывать на то, что «Слово» написано п о с л е смерти Святослава Киевского, умершего в июле 1194 г. «Слово» не могло быть написано и позднее мая 1196 г. — в этом месяце умер Всеволод Святославич, брат Игоря, а в конце памятника провозглашается здравица Буй-Туру Всеволоду.

Но почему же автор десятилетие спустя вспоминает поход Игоря с таким публицистическим пафосом? Н. С. Демкова предполагает, что «Слово» — это актуальный призыв к русским князьям, вызванный событиями 1194-1196 гг. Это были годы ожесточенной борьбы за право обладать киевским престолом между Рюриком Ростиславичем, ставшим теперь киевским князем, и Ольговичами — Ярославом Черниговским, Игорем и Всеволодом Святославичами. Дело доходит до вооруженного конфликта. Рюрик призывает на помощь половцев. И летописец с горечью отмечает, что они «устремилися на кровопролитье и обрадовалися бяхуть сваде [ссоре, раздору. — *О. Т.*] в рускых князех»[80][46]. Естественно, что в эти годы чрезвычайно актуальной становится тема пагубности княжеских междоусобиц перед лицом половецкой опасности, а этой теме и посвящено «Слово». В конфликтной ситуации 1194-1196 гг. автор «Слова», по мнению Н. С. Демковой, стремится также «оправдать черниговских князей за поражение 1185 г., доказать их военное и моральное право быть руководителями в княжеских союзах, ибо они выступали как мужественные представители Руси против «поганых», они уже «доспели на брань»; не так далеко ушло время успешного правления Клером одного из Ольговичей — Святослава Всеволодича, мудрого и заботливого князя»[81][47]. Итак, заключает Н. С. Демкова, мы наблюдаем в «Слове о полку Игореве» отражение не только общерусских, общенародных идей — страстного «призыва русских князей к единению», к борьбе против врагов родной земли... но обнаруживаем и связи его с конкретной политической ситуацией середины 90-х годов XII в., следы его злободневного отношения к событиям и людям»[82][48].

Гипотезы Б. А. Рыбакова и Н. С. Демковой требуют еще внимательного, всестороннего анализа. Но заметим, что до них никто не предлагал датировки «Слова», основанной на совокупности данных — анализа образов в связи с конкретной политической ситуацией на Руси. Обычно датировка «Слова» временем до 1187 г. опиралась лишь на один факт: в памятнике упоминается как живой Ярослав Осмомысл (умерший в 1187 г.). Но обращение к Ярославу в «златом слове» возможно и после смерти князя: ведь в 1185 г., о котором повествуется в памятнике, он был жив и мог прийти на помощь своему зятю.

Неоднократно предпринимались попытки установить имя автора «Слова». Автор, бесспорно, был человеком с широким государственным кругозором, отлично ориентировавшийся как в русской истории, так и в политической обстановке своего времени, и при этом еще человеком большой книжной культуры и огромного таланта. Но нам неизвестно какое-либо конкретное лицо того времени, обладавшее всеми перечисленными качествами. Поэтому все предполагавшиеся ранее кандидатуры на роль автора «Слова» (Тимофей Рагуилович, Митуса, Рагуил Добрынич, Беловод Просович, сам Игорь и т. д.) не могли быть серьезно обсуждены хотя бы потому, что нам не известны ни взгляды этих людей, ни наличие у них литературных способностей. Более основательна гипотеза Б. А.

79
80
81
82

Рыбакова, высказавшего осторожное предположение[83][49], что автором «Слова» мог быть летописец Петр Бориславич. Если атрибуция ряда летописных фрагментов Петру Бориславичу верна, то мы можем судить и о его политической программе, и об особенностях его языка и слога. И в том и в другом между летописцем и автором «Слова» Б. А. Рыбаков усматривает общность. Однако исследователь все же считает необходимым так резюмировать свои наблюдения: «Нельзя доказать непреложно, что «Слово о полку Игореве» и летопись «Мстиславова племени» (имеются в виду приписываемые Петру Бориславичу фрагменты Ипатьевской летописи. — *О. Т.*) действительно написаны одним человеком. Еще труднее подтвердить то, что этим лицом был именно киевский тысяцкий Петр Бориславич. Здесь мы, вероятно, навсегда останемся в области гипотез. Но порази тельное сходство, переходящее порою в тождество, почти всех черт обоих произведений (с учетом жанрового различия) не позволяет полностью отбросить мысль об одном создателе этих двух одинаково гениальных творений»[84][50].

Жанр «Слова о полку Игореве». Весьма сложным оказывается и вопрос о жанровой принадлежности «Слова». Автор памятника не может нам помочь: он сам называет свое произведение то «слово» («Слово о пълку Игореве...»), то «песнь» («Начата же ся тъи песни по былинамь сего времени...», «Певше песнь старымъ княземъ...»), то «повесть» («Почнемъ же, братие, повесть сию...»). Не имеет «Слово» аналогий среди других памятников древнерусской литературы. Следовательно, это либо произведение исключительное в своем жанровом своеобразии, либо — представитель особого жанра, памятники которого до нас не дошли, так как жанр этот, сочетающий черты книжного «слова» и эпического произведения, не был традиционным. Быть может, произведения этого жанра, предназначенные в первую очередь для устного исполнения, вообще редко записывались.

Д. С. Лихачев пишет[85][51], что появление таких памятников, «стоящих на грани литературы и фольклора» (а именно таким является «Слово»), могло быть вызвано следующим обстоятельством. В связи с происходящим ускоренными темпами образованием феодального государства «возникает новое историческое и патриотическое самосознание, которое требует особых жанровых форм своего выражения. Ни система фольклорных жанров, ни система византийско-славянских литературных жанров, перешедшая на Русь, не были приспособляемы для выражения новых тем. Первая в силу своей архаичности, вторая в силу своей преимущественной церковности». Это и явилось предпосылкой создания новых жанров — «жанров политической публицистики, жанров, воспевающих любовь к родной стране, жанров лиро-эпических». «Слово» сближается с памятниками западно-европейского раннефеодального эпоса, в частности с «Песнью о Роланде».

Это сопоставление было глубоко изучено А. Н. Робинсоном, поставившим задачу «найти и обосновать... место («Слова о полку Игореве». — *О. Т.*) в ряду эпических произведений западного и восточного феодального мира»[86][52]. Исследователь указывает, что при таких сопоставлениях необходимо учитывать, с одной стороны, «социально-историческую близость феодальных идеологий и культур», а с другой — народно-национальную оригинальность. А. Н. Робинсон демонстрирует, как общие для памятников средневекового героического эпоса мотивы (идея защиты родины, понятие рыцарской чести, этикет взаимоотношений сюзерена и вассала, образ тоскующей в разлуке жены или возлюбленной героя и т. д.) различно проявляются в разных культурах и разных памятниках. В «Слове», в частности, возможности типической идеализации героев оказались существенно ограниченными, потому что в основе сюжета лежало современное, а не находящееся в далеком прошлом событие, и автор обращался к своим слушателям «с песней-рассказом о них самих».

83
84
85
86

Особая жанровая природа «Слова» оказала большое влияние и на его поэтику: в «Слове» сочетаются принципы поэтики стиля монументального историзма (церемониальность в изображении героев, приемы, свойственные жанру торжественных слов) и поэтики фольклора (в изображении природы, в изображении чувств жены героя, в сочетании фольклорных жанров — «славы» и «плача»). Фольклорные элементы оказываются в «Слове» органически слитыми с элементами книжными[87][53].

[88][1] Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 19.
[89][2] Текст письма читается вслед за текстом «Поучения» в составе Лаврентьевской летописи.
[90][3] О «Поучении» см.: Орлов А. С. Владимир Мономах. М.-Л., 1946; Лихачев Д. С. Великое наследие. М., 1975, с. 111-131.
[91][4] О творчестве Кирилла Туровского см.: Еремин И. П. Ораторское искусство Кирилла Туровского. — В кн.: Еремин И. П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.-Л., 1966, с. 132-143.
[92][5] Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1949, т. XI, с. 184.
[93][6] См.: Мещерский Н. А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.-Л., 1958, с. 33-35.
[94][7] Следует признать, что нам еще недостаточно ясна технология составления летописных сводов, так как до нас дошли, как правило, уже готовые, завершенные своды, создававшиеся через определенные промежутки времени по инициативе митрополитов, князей или реже частных лиц. Нам ясно, как именно летописец сводил свои источники — летописи, повествующие о прошлых событиях, но мы не знаем, как выглядел тот источник, из которого он брал сведения о текущих событиях: едва ли летописец записывал их начисто, по памяти. Видимо, существовали какие-то заготовки, черновые хроникальные записи. Этими материалами, соответствующим образом их обработав, летописец и завершал свой свод.
[95][8] О методах изучения летописных текстов см.: Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII вв. М.-Л., 1962, гл. 8.
[96][9] Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М - Л., 1947, с. 169.
[97][10] Что такое *временных лет?* Исследователи полагают, что слова эти следует переводить как «повествование о прошедших годах». Здесь и далее «Повесть» цитируется по наиболее авторитетному ее изданию: Повесть временных лет, ч.1. Текст и перевод / Подготовка текста Д.С.Лихачева; Перевод Д.С.Лихачева и Б.А.Романова: ч. 2. Приложения. Статьи и комментарии Д. С. Лихачева. М.-Л., 1950. Серия «Литературные памятники».
[98][11] Ясно, что Рюрик (если он вообще существовал), Олег и Игорь были норманнами по происхождению и что они едва ли были связаны родством, но дело не в этом: государственность на Руси возникла в процессе внутреннего развития, а не по воле вождей варяжских дружин, в силу каких-то обстоятельств захватывавших власть в русских городах.

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

[99][12] В этой битве, при переправе через Стугну, погиб юный князь Ростислав Всеволодович, о чем вспоминается в «Слове о полку Игореве».
[100][13] Подробнее об этом см. в кн.: Истоки русской беллетристики. Л., 1970, гл. I.
[101][14] Лихачев Д. С. Человека литературе Древней Руси. М., 1970, с. 65.
[102][15] Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение М.-Л., 1947, с. 215-247.
[103][16] См.: Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, гл. 2; Развитие русской литературы X-XVII веков. Л., 1973, с. 64-67; «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Русская литература, 1976, № 2.
[104][17] Помимо жития, написанного Нестором, известно и анонимное житие тех же святых — «Сказание и страсть и похвала Бориса и Глеба».
[105][18] Имеется в виду, что Владимир, согласно легенде, в последний момент перед крещением заколебался и за это был поражен слепотой. Он прозрел во время обряда крещения.
[106][19] 'Еремин И. П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.-Л., 1966, с. 21-22.
[107][20] См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1941, т. XIV, с. 163.
[108][21] См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М., 1976; он же. «Слово о полку Игореве» И культура его времени. Л., 1978.
[109][22] [2]См.: Осетров Евгений. Мир Игоревой песни. Этюды. М., 1977.
[110][23] См.: Ипатьевская летопись. — Поли. собр. русских летописей. М., 1962, т. II, стлб. 637-651.
[111][24] См: Лаврентьевская летопись. — Поли. собр. русских летописей. М., 1962, т. I, стлб. 396-400.
[112][25] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 29, с. 16.
[113][26] Текст «Слова» цитируется по изданию: Слово о полку Игореве, 2-е изд. Л., 1967, с. 51. («Библиотека поэта». Большая серия.) Далее страницы по этому изданию указаны в тексте в скобках.
[114][27] Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода Северского Игоря Святославича... М., 1800, с. 27-28. При цитировании первого издания «Слова» пользуюсь фототипическим воспроизведением его в кн.: Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». М.-Л., 1960.
[115][28] См.: Лихачев Д. С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей/ Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1950.

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

[116][29] Робинсон А. Н. «Русская земля» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ *Л.,* 1976, т. XXXI, с. 136.
[117][30] Напомним, что «Задонщина» стала известна лишь в середине XIX в., первый из найденных ее списков был опубликован в 1852 г. Исследователи отмечали, что в «Задонщине» в весьма выгодном свете упоминались предки некоторых из представителей екатерининской знати и обнародование этого памятника в конце XVIII в. вызвало бы самое благосклонное внимание и заинтересованность и самой императрицы, и ее сановников.
[118][31] Внимательный читатель уже заметил, что мы привлекаем то один, то другой, то третий список «Задонщины». Это не случайно: близкие чтения к «Слову» находятся в разных списках «Задонщины», и, следовательно, фальсификатор должен был бы для составления «Слова» на основе «Задонщины» располагать именно авторским ее текстом, где содержалась вся сумма параллелей.
[119][32] Это понятно: плач жен в «Задонщине» создан под влиянием плача Ярославны. А она обращается именно к Днепру.
[120][33] Подробнее об этом см.: Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины». (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полке Игореве»). — Русская литература, 1964, №3;Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.-Л., 1966.
[121][34] Предположительно фраза эта первоначально имела такой вид: «Коли сокол трех мытей, тогда не даст в обиду гнезда своего». Можно высказать догадку, что и в «Слове» первоначально говорилось о трижды линявшем (взрослом) соколе («г мытей»); буква «г» в Древней Руси обозначала число три; впоследствии текст был переосмыслен, цифра-буква «г» заменена предлогом «в». Но это, повторяю, всего лишь догадка (см.: Творогов О. В. «Сокол трех мытей» в «Повести об Акире Премудром». — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1969, с. 111-114).
[122][35] См.: Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI-XIII веков. Л., 1968; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Сост. В. Л. Виноградова, вып. 1. *А — Г.* М.-Л., 1965; вып. 2. *Д — Копье.* Л., 1967; вып. 3. *Корабль — Нынешний.* Л., 1969; вып. 4. *О — П.* Л., 1973; вып. 5 *Р — С* Л., 1978.
[123][36] Приведу лишь один-единственный пример. Чтобы упомянуть «бебрян рукав» Ярославны (рискуя при этом быть просто неверно понятым, ибо на первый взгляд речь идет о рукаве с меховой, бобровой оторочкой), нужно было отыскать единственное употребление этого прилагательного в пространнейшем тексте «История Иудейской войны» Иосифа Флавия и, сравнив с греческим оригиналом, установить, что «бебр» — это наименование шелка особой выработки.
[124][37] См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Русская литература, 1976, № 2; см. также: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.-Л., 1962.
[125][38] См. об этом: Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII — начала XIX в. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.-Л., 1962.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

[126][39] Заметим, что издатели и в этом случае проявили свою палеографическую и источниковедческую неосведомленность: в описании сборника сказано, что рукопись «по своему почерку весьма древняя»; назвать древней рукопись XVII в. столетием спустя едва ли правомерно.
Впрочем, быть может, границы конволюта были настолько разительны, что издатели имели в виду лишь вторую его часть, включавшую текст «Слова»? Заинтересовавшихся этим вопросом отсылаю к своей статье: «К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве» (ТОДРЛ. Л., 1976, т. XXXI).
[127][40] Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 406.
[128][41] Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 405.
[129][42] Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с.279.
[130][43] Ипатьевская летопись, стлб. 659.
[131][44] Лаврентьевская летопись, стлб. 400.

126
127
128
129
130

131 **ПОВЕСТИ XIII-XV ВВ. О БОРЬБЕ С МОНГОЛО-ТАТАРСКИМ ИГОМ**

В первой четверти XIII в. Русь постигла национальная трагедия — вторжение орд монголо-татар[1]. О нашествии кочевников, о разрушении городов, гибели или угоне в плен населения, а также о запустении Руси после нашествия врага, когда города лежали в развалинах, а «села... запустеша и ныне лесом зарастоша», рассказывают русские летописи, повести, жития, проповеди, а еще более убедительно и беспристрастно — данные, добытые археологами и историками материальной культуры. При раскопках удавалось иногда воссоздать до деталей страшные картины гибели русских городов, обнаруживая следы пожарищ, трупы мирных жителей, придавленных обгоревшими стропилами домов, или воинов со следами боевых ранений. Показательны археологические данные и о последствиях нашествия: культурный слой, расположенный выше слоя пожарища (свидетельства гибели города при осаде врагами), как правило, содержит значительно меньше остатков хозяйственного инвентаря, что говорит об упадке ремесел. В ряде случаев город вообще не возрождался после разрушения или достигал размеров домонгольского времени лишь несколько веков спустя.

Рати Батыя опустошили огромную территорию: во время его похода (1237-1241) были взяты, разрушены и сожжены Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польской, Ростов, Кострома, Ярославль, Переяславль-Залесский, Чернигов, Переяславль-Южный, Владимир-Волынский, Галич.

В 1240 г. войска Батыя подошли к стенам Киева и обступили город. По словам летописца, «не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения вельблуд его и рьжания от гласа стад конь его, и бе исполнена земля Русская ратных [вражеских воинов]... Постави же Баты порокы [тараны или баллисты] городу подъле врат Лядьских... пороком же беспрестани бьющим день и нощь, выбиша стены и возидоша горожане на избитые стены, и ту беаше видети лом копейный и щет скепание [разсеченные щиты], стрелы омрачиша свет побеженым...» Сопротивление продолжалось и на стенах старого града, построенного еще при Владимире; здесь «бысть брань меж ими велика», констатирует летописец. Последние защитники города оборонялись в храме Богородицы Десятинной. Люди забрались даже на «комары» (своды) здания, и «от тягости повалишася с ними стены церковныя».

Через Галицко-Волынскую Русь монголы устремились в Венгрию. 11 апреля 1241 г. они разбили венгерского короля Белу IV и хорватского герцога Коломана на реке Шайо (приток Тиссы, в 160 км к востоку от Будапешта), а двумя днями раньше другие монгольские полки нанесли поражение под Лигницей (к западу от Вроцлава) объединенным силам чешских и польских князей. Кочевники дошли до Вены и побережья Адриатики. Однако ослабленные тяжелой борьбой с русскими и половцами, они не смогли осуществить свой замысел покорения Европы, и Батый вернулся на восток. Пройдя через южнорусские степи, монголы осели в Нижнем Поволжье. Столицей Батыя стал город Сарай-Бату (близ нынешней Астрахани). Русские «необозримые равнины, — писал А. С. Пушкин, — поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией»[2].

[132][45] Демкова Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестник Ленинградского университета, № 14. История. Язык. Литература. Л., 1973, вып. 3, с.73.
[133][46] Ипатьевская летопись, стлб. 700.
[134][47] Демкова Н. С. К вопросу о времени написания, с. 76.
[135][48] Там же, с. 77.
[136][49] Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 393-514.
[137][50] Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 515.
[138][51] Здесь и далее цитируется статья: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI-XIII вв. — ТОДРЛ. Л., 1972, т. XXVII, с. 69-75.

Однако для самой Руси тяжелые испытания еще не кончились. После некоторого периода тишины возобновились «рати»: во второй половине XIII в. имело место до 15 походов монголов на Русь, во время которых вновь пострадали Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль-Залесский, Москва, Тверь, Рязань, Курск и другие города.

Трудно представить общие масштабы бедствия, исчислить людские жертвы — число погибших или угнанных в плен. Непоправимый урон был нанесен и русской культуре. Достаточно выразительным свидетельством является тот факт, что во второй половине XIII в. на Руси почти не ведется каменное строительство, тогда как количество церквей и каменных построек XII и начала XIII в. исчислялось тысячами.

Литературное развитие в XIII — первой половине XIV в. существенно замедляется, и на долгое время, по крайней мере до середины XV в., одной из центральных в русской литературе становится патриотическая тема — прославление подвигов русских воинов, доблести русских князей в годы нашествия Батыя и побед русского оружия во времена Дмитрия Донского.

Летописи XIII-XV вв. обстоятельно и взволнованно рассказывают о важнейших эпизодах борьбы с монголо-татарским нашествием: о битве на Калке[3] (в 1223 г.), о Батыевом нашествии (1238-1240), о победе над Мамаем на Куликовом поле (1380), о захвате Москвы Тохтамышем (1382), о нападении Темир-Аксака (1395), о приходе на Русь Едигея (1408) и, наконец, о «стоянии на Угре» русского войска, возглавляемого Иваном III, и татарской рати хана Ахмата в 1480 г. — событии, которое считается историческим рубежом, знаменующим конец монголо-татарского ига. Помимо всех этих кратких и подробных, драматических и торжествующих летописных повествований, событиям вражеского нашествия посвящены и такие выдающиеся литературные памятники, как «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище».

Летописная повесть о битве на Калке. Наиболее подробно о битве на Калке рассказывается в Новгородской первой и Ипатьевской летописях. Появление в южнорусских степях неведомых доселе монголо-татар встревожило местное население. «Придоша языци незнаеми, их же добре никтоже не весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и котораго племени суть, и что вера их», — недоумевает летописец; по мнению некоторых, продолжает он, это и есть те самые народы, которые, согласно древним предсказаниям, «явятся» перед «скончанием времен» и «попленят всю землю».

Первыми подверглись нападению монголо-татар половцы. Половецкие князья с богатыми дарами явились в Галич к князю Мстиславу (он был женат на дочери половецкого князя Котяна) и попросили помощи: «нашю землю днесь отъяли, а ваша заутро възята будет». Русские князья вместе с половцами выступили навстречу войскам Батыя: «Приде же ту вся земля Половецкаа и вси их князи, а ис Киева князь Мъстислав со всею силою, а Володимер Рюрикович с смолняны, и вси князи черьниговъстии, и смольняне, и инии страны... и галичане и волынци кыиждо с своими князи, а куряне и трубчане и путивльци приидоша кыиждо с своими князи». Галичане на тысяче лодок спустились по Днестру, морем достигли устья Днепра, поднялись вверх по его течению и у порогов примкнули к остальным русским и половецким полкам.

Первоначально развитие событий не предвещало ничего недоброго: русские обратили монголо-татарский авангард в бегство и преследовали его на восток восемь или девять дней. Но у реки Калки они встретились с основными вражескими силами. В ходе битвы сказалась несогласованность действий князей, их взаимное недружелюбие («зависть», как признает летописец). Мстислав Киевский вообще не принял участия в бою, а простоял со своими полками на возвышенности в укрепленном лагере. В результате объединенное русско-половецкое войско было разгромлено, несмотря на героизм отдельных князей и их дружин[4], а тех князей, которые сдались в плен, поверив обещанию, что их разрешат выкупить (такая практика была широко распространена при русско-половецких военных конфликтах), ожидала страшная и позорная смерть: их «издавиша, подъкладъше под дъски, а сами [враги] верху седоша обедати, и тако живот их концяша».

Впрочем, подлинное значение этого поражения и опасность, которую представляли орды Батыя для Руси, поняли не сразу. Летописец-современник успокоенно скажет, что «бог, ожидая

[139][52] Здесь цитируется статья: Робинсон А. Н. «Слово о полку Игореве» и героический эпос средневековья. — Вестник АН СССР, 1976, № 4, с. 104-112.
[140][53] См. о поэтике «Слова»: Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI-XIII веков, с. 4-40; Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Русская литература, 1976, № 2, с. 24-37; Дмитриев Л. А. «Слово о полку Игореве». — В кн.: Русская литература и фольклор (XI-XVIII вв.). Л., 1970, с. 36-54.

ЛИТЕРАТУРА XV В.

покаяния», обратил врагов «вспять». Князья, вернувшиеся после Калкской битвы в свои уделы, снова принялись за прежние «которы» — междоусобные войны.

Лишь позднее, пережив все ужасы батыевой рати, народ вспомнит о том грозном предупреждении, которым была роковая битва на Калке. Именно поэтому воспоминания о ней сольются с эпическими образами. Так, в Никоновской летописи XVI в. в рассказе о Калкской битве утверждается, будто бы «убиша... на том бою и Александра Поповича, и слугу его Торопа и Добрыню Рязанича Златаго пояса, и седмьдесят великих и храбрых богатырей».

«Повесть о разорении Рязани Батыем». В 1237 г. монголо-татары вновь напомнили о себе: хан Батый с огромным войском вторгся в Рязанское княжество. Этому событию посвящено одно из лучших произведений древнерусской литературы — так называемая «Повесть о разорении Рязани Батыем».

«Повесть» условно выделяется исследователями из цикла сказаний о Николе Заразском. В цикл входят рассказ о перенесении иконы Николы из Корсуни (Херсонеса) в Рязань, собственно повесть о захвате Рязани Батыем и рассказ о чуде, происшедшем от иконы Николы Заразского в Коломне, куда она была перенесена в 1513 г. И сам цикл, и даже его компонент — «Повесть о разорении Рязани» — складывались постепенно. В основу его легли, видимо, легенды и предания, возникшие непосредственно после изображаемых событий. Не позднее конца XIV в., как полагает Д. С. Лихачев, сформировался основной сюжет «Повести», но заключительная часть — плач Ингваря Ингоревича о погибших рязанцах — была включена в ее состав еще позднее[5].

В 1237 г., говорится в «Повести», «безбожный царь Батый» со множеством воинов приходит на Русь. Он просит у рязанского князя Юрия Ингваревича «десятины во всем: во князех и во всех людех». Юрий Ингваревич обращается за помощью к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, но тот отказывает ему: «хотя особе сам сотворити брань с Батыем». Юрий Ингваревич совещается со своей «братией» и решает «утолить» врагов дарами. С дарами отправляется в стан Батыя Федор Юрьевич. Но Батый требует у рязанских князей дочерей и сестер «себе на ложе». Кто-то из рязанских вельмож «насочил» (донес) Батыю, что Федор Юрьевич женат на красавице из царского рода. Батый потребовал привести ее к себе, на что Федор Юрьевич с усмешкой отвечал: «Аще нас приодолееши, то и женами нашими владети начнеши». Князь был убит, а тело его брошено «зверем и птицам на растерзание». Когда весть о гибели мужа дошла до жены его — Евпраксии, она бросилась из окна «превысокого» терема с младенцем-сыном на руках «и заразися [ударилась] до смерти»[6].

Рязанские князья готовятся к обороне города: «Лутче нам смертию живота кулиги [погибнув, заслужить вечную жизнь], нежели в поганой воли быти. Се бо я, брат ваш, напред вас изопью чашу смертную...» — обращается к князьям Юрий Ингваревич. Князья героически сражаются с врагами и все гибнут в бою, а вместе с ними — «воеводы крепкыа, и воинство: удалци и резвецы резанския». Батый опечален и разгневан, ибо в битве и его «полкы мнозии падоша». Монголо-татары осаждают Рязань. Пять дней осада длится безуспешно, но силы обороняющихся тают: «многих гражан побили, а инех уазвиша [ранили], а инии от великих трудов изнемогоша». На шестой день «приидоша погании ко граду, овии с огни, а ини с пороки, а иней со тмочислеными лествицами, и взяша град Резань». Описанием гибели рязанцев и разрушения города заканчивается первая часть «Повести».

Однако погибли не все рязанские «удальцы». Один из вельмож рязанских — Евпатий Коловрат вместе с князем Ингварем Ингоревичем был в это время в Чернигове. Услышав о нападении Батыя, он «с малою дружиною» поспешил к Рязани, но опоздал — «виде град разорен, государи побиты, и множества народа лежаща: ови побьены и посечены, а ины позжены, ины в реце истоплены». Евпатий горько скорбит о своих земляках и, собрав дружину в тысячу семьсот человек, которых «бог соблюде», ибо находились они «вне града», «погнаша» вслед Батыю, который уже двигался по направлению к Суздалю. Напав на Батыевы полки, воины Евпатия «начаша сечи без милости и сметоша» вражеское войско. «Татарове же сташа, яко пияны, или неистовы. Еупатию тако их бьяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарскыа мечи и сечаша их». Враги думают, что восстали из гробов мертвые рязанцы. Когда им удается захватить пятерых воинов, «изнемогших от

Возможность рассматривать период с конца XIV до конца XV в. как время русского Предвозрождения была обоснована в исследованиях Д. С. Лихачева[141][1]. Русская литература еще с X-XI вв. находилась в теснейших связях с культурами Византии и южных славян. Монголо-татарское нашествие затормозило и прервало эти связи (хотя и не в полной мере), но уже во второй половине XIV в. они возрождаются с необычайной интенсивностью, и Русь оказывается вовлеченной в тот процесс культурного подъема, который переживают в этот период все европейские государства и который привел некоторые из них к собственно Возрождению. Но каковы же наиболее существенные черты эпохи Предвозрождения?

великих ран», Батый вопрошает пленных, кто они. Те отвечают, что они «от полку Еупатиева Коловрата», «посланы... тебя силна царя почтити и честна проводити и честь тебе воздати. Да не подиви, царю, не успевали наливати чаш на великую силу — рать татарскую». Батый дивится их мудрому ответу и посылает против Евпатия «силныа полкы» во главе с шурином своим Хостоврулом: Евпатий в поединке рассекает Хостоврула «на полы [пополам] до седла». Лишь с помощью «множества пороков» врагам удается убить Евпатия, и сам Батый, глядя на тело его, восклицает: «Аще бы у меня такий служил, — держал бых его против сердца своего».

Заключается повесть рассказом о том, как вернувшийся из Чернигова князь Ингварь Ингоревич оплакивает и хоронит погибших и, сев на столе отца своего, «обнови землю Рязанскую, и церкви постави, и монастыри согради, и пришедши утеши и люди собра».

В исследованиях «Повести о разорении Рязани Батыем» отмечалась публицистическая направленность — осуждение княжеских междоусобиц, позволивших монголо-татарам разбивать русских князей поодиночке, и в то же время высокий патриотизм ее автора, для которого скорбь о былой независимости и нынешнем трагическом положении порабощенной родины заставляет подняться над этой жестокой реальностью и создать идеализированный образ храбрых защитников родины, «испивших смертную чашу» в битве с врагом. Отмечалась и фольклорная струя «Повести», удивительно сближающая ее со «Словом о полку Игореве»[7].

Прославление доблести рязанских князей и их воинов, «удальцов рязанских» — основной мотив повести. Когда князь Юрий Ингваревич обращает взор на своих соратников, «видя братию свою и боляр своих и воеводе храбрый мужественны ездяще», то выражение «мужественно ездяше» указывает на их постоянный, «эпический признак» («ездить» значило — «ходить в поход»), подобно тому как в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича, в его покаянной молитве, упоминаются «мужи храборьствующеи», то есть постоянно, всегда готовые храбро сражаться.

Желая подчеркнугъ, как «крепко и мужественно» бьются рязанцы, автор прибегает к эпической гиперболе: «един» рязанец «бьшеся с тысящей, а два со тмою [десятью тысячами]»[8]. Но силы Батыя слишком велики; «удалцы и резвецы резанские» *«еси* равно умроша и *едину* чашу смертную пиша». Этот образ, возможно, имел особый, скрытый для беглого взгляда современного читателя смысл — именно единства, братской сплоченности так недоставало князьям в годину Батыевой рати.

Все эпические образы и приемы гармонично сочетаются в «Повести» с высокой патетикой, присущей стилю монументального историзма; к нему прибегает, например, автор, рисуя трагическую картину разоренной врагами Рязани: «и не бе в ней ничто благо видети — токмо дым и пепел, а церкви все погореша, а великая церковь внутрь погоре и почернеша. ...Не бе бо во граде пения, ни звона...» Эта картина сожженного города дополняется описанием поля битвы, где лежат «на земле пусте, на траве ковыле, снегом и ледом померзоша, ником брегома» «удалцы и резвецы, узорочие [сокровище] резанское». Контраст шумной яростной битвы и могильной тишины, нарушаемой лишь плачем по погибшим, — образ необыкновенной художественной силы.

Похвала роду рязанских князей, завершающая «Повесть», — это, по словам Д. С. Лихачева, литературный шедевр, стилистическая выделка его «доведена до медальонной чеканности»[9]. Составленная из коротких фраз, параллельных по своей синтаксической структуре и по смыслу (в каждую фразу входит элемент, которому в следующей фразе соответствует синоним или антоним), вся похвала эта словно тирада, произносимая на одном дыхании, все с новых и новых сторон раскрывающая собирательный (хотя, разумеется, идеализированный) образ рязанских князей, исполненных всех возможных добродетелей и достоинств. Приведем лишь начало этой похвалы, разбив ее для наглядности на соотносимые друг с другом фрагменты:

Сии бо государи...
бяше родом христолюбивыи,
братолюбивыи,
лицем красны,

Если Возрождение открыло человека, признало ценность, сложность и индивидуальность человеческой личности, то в эпоху Предвозрождения это открытие еще только подготавливается. И как первый шаг на этом пути возникает обостренный интерес к эмоциональной жизни человека, при этом не только в узкой сфере молитвенного экстаза или умиления, но и во всем разнообразии чувств, возникающих в различных жизненных ситуациях. Писатели этого времени еще не открыли для себя индивидуального человеческого характера, но они начинают охотно изображать человеческие эмоции и сами вместе со своими героями плачут, восхищаются, негодуют. Эти новые интересы, в свою очередь, потребовали выработки нового, более гибкого, более экспрессивного языкового стиля. Такой стиль получает в XIII-XIV вв. широкое распространение в литературах

очима светлы,
взором грозны,
паче меры храбры,
сердцем легкы,
к бояром ласковы,
к приеждим приветливы,
к церквам прилежны,
на пированье тщивы,
до осподарских потех охочи,
ратному делу велми искусны,
к братье своей и ко их посолником величавы,
мужествен ум имеяше,
в правде-истине пребываста,
чистоту душевную и телесную без порока соблюдаете.

Этот заключительный аккорд звучит как летописная некрологическая похвала, в которой, однако, восхищение достоинствами прославляемого заглушает скорбь о его кончине. Характерен в этом отношении конец похвалы, в котором совершенно не отразились трагические обстоятельства гибели рязанских князей:

И многи труды и победы по правой вере показаста,
а с погаными половци часто бьяшеся за святыа церкви и
православную веру,
а отчину свою от супостат велми без лености храняша.

«Повесть о разорении Рязани Батыем» получила широкое распространение в древнерусской книжности. По наблюдениям Д. С. Лихачева, она представлена одиннадцатью редакциями и сохранилась в более чем 60 списках.

«Задонщина». 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, на правом берегу Дона у впадения в него реки Непрядвы[10], произошла битва между русским войском, возглавляемым великим князем московским Дмитрием Ивановичем, и татарской ратью под командованием хана Мамая. Битва была жестокой и кровопролитной, в какой-то момент враги завладели инициативой, прорвав строй передового полка, но своевременное введение в бой русского резерва — «засадного полка» — решило его исход; татары были обращены в бегство.

События 1380 г. (подготовка татар к походу на Русь, переговоры Мамая с его союзниками — литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом, сборы русского войска, сама битва, возвращение Дмитрия Донского в Москву, гибель Мамая) описаны в летописях. Наиболее подробный рассказ содержится в летописях середины XV в. — Софийской первой и Новгородской четвертой. Однако краткое сообщение «о побоище иже на Дону» читалось, вероятно, уже в летописном своде начала XV в. (Троицкой летописи, сгоревшей в 1812г. в Москве).

Победе над Мамаем в Куликовской битве посвящены и два литературных памятника: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»[11].

«Задонщина», как и «Слово о полку Игореве», которому подражал ее автор, не стремится последовательно описать весь ход событий, ее цель иная — воспеть победу русских, прославить великого князя московского Дмитрия Ивановича и его брата — серпуховского князя Владимира Андреевича. Именно эта основная идея, возможно, и побудила автора «Задонщины» не только подражать «Слову» в отдельных образах, но и последовательно, каждому звену рассказа о п о р а ж е н и и русских на реке Каяле противопоставить эпизод нынешней п о б е д ы . Перенося в свой памятник иной раз те же самые образы в той же последовательности, в какой они встретились ему в «Слове», автор «Задонщины» чрезмерно усложнил и запутал композицию своего

Византии, Болгарии, Сербии и, наконец, в русской литературе, применительно к которой он именуется обычно стилем второго южнославянского влияния.

В эпоху Предвозрождения активизируется процесс секуляризации, обмирщения культуры. В идеологии проявляется большее свободомыслие, получают распространение различного рода еретические воззрения. Литература смелее отходит от канонов в системе жанров, в типе сюжетов, в характере изображения; читателя все более привлекает занимательность повествования, новизна сюжетных коллизий. Со всеми этими процессами мы встретимся и в русской литературе XV в.

Для эпохи Предвозрождения характерен также повышенный интерес к миру, чуждый барьеров национальной и даже религиозной ограниченности. Достаточно упомянуть в этой связи, что на Руси на рубеже XV-XVI вв. делаются переводы с латыни, что Русь, хотя и в

произведения, а в ряде случаев вступил в противоречие с логикой собственного сюжета.

Но часть неясных чтений «Задонщины», возможно, возникла уже в процессе ее литературной истории или объясняется дефектностью дошедших до нас немногочисленных ее списков[12]. Так, например, вступление «Задонщины» во всех четырех списках, где оно присутствует, различно, а кроме того, во всех этих списках в одном и том же месте текст несомненно испорчен. Если принять предложенную реконструкцию вступления[13], то его композиция примет следующий вид.

Автор призывает прославить Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича, но прежде вспомнить «первых лет времена» и киевского «гудца» Бояна, воспевавшего первых русских князей. С Киевских гор окидывает автор взором Русскую землю и пределы «жребия Симова» (согласно Библии, от Сима, сына Ноя, произошли восточные кочевые народы), где «родися хиновя [след «Слова»!] поганые татаровя бусурмановя. Те бо на реке Каяле [снова след «Слова»: Каяла перепутана с Калкой] одолеша род Афетов [русских]. И оттоля Руская земля седит невесела, а от Калатьския рати до Мамаева побоища тугою и печалью покрышася, плачющися, чады своя поминаючи: князи и бояры и удалые люди».

Итак, автор «Задонщины» видит в Куликовской битве важный исторический рубеж: поражением на Калке началось время «туги и печалью», с битвой на Куликовом поле оно кончилось.

Композиция основной части «Задонщины» находится в сильной, можно сказать, рабской зависимости от композиции «Слова». При этом в «Задонщине» очень мало действия, но зато много места занимают диалоги, прообразом которых явился единственный (и там совершенно уместный!) диалог Игоря и Всеволода в «Слове». В «Задонщине» сначала воодушевляют друг друга Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич, затем братья Ольгердовичи призывают, собрав «храбрых удальцев», «посмотреть быстрого Дону»[14] и испить из него воды[15]; потом в свою очередь Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич расхваливают свою «сведому дружину» и т. д. Даже во время самого боя князья продолжают обмениваться воодушевляющими призывами, подчас весьма неуместными. Так, выехавший из засады со своим полком Владимир обращается (это в самый-то критический момент боя!) к Дмитрию Ивановичу: «Брате князь Дмитрий Иванович, то ты еси у зла тошна времени железная забрала [В. Ф. Ржига перевел эти слова так: «ты в злое, тяжелое время железная оборона»]. Не уставай, князь великий, с своими великими полкы, не потакай лихим крамольникам...» (? — *О. Т.*). Дмитрий же в свою очередь обращается к боярам: «То ти, братие, наши московъскыя сластныа меды и великия места. Туто добудете себе места и своим женам» (?). И уже совсем странна фраза о том, что «поскакивает князь великый Дмитрий Иванович с своими полкы за Дон с всею силою»: ведь битва уже давно идет за Доном на Куликовом поле.

Поэтический плач Ярославны в «Задонщине» разбит на реплики, которые произносят княгини, боярские и воеводские жены, причем именуются они с совершенно противоречащей поэтическому духу памятника обстоятельностью: «Тимофеева жена Волуевича Федосья», «Ондреева жена Марья да Михайлова жена Оксенья». «Это почти официальная реляция о плаче жен — жен официальной московской бюрократии», — охарактеризует это место «Задонщины» Д. С. Лихачев.

Д. С. Лихачев отметил и стилистическую неоднородность «Задонщины» — в ней обнаруживается и стилистический слой, близкий к «Слову», стилистический слой «делопроизводственного характера» и, наконец, фольклорный слой. Первые два слоя находятся между собой «в резком диссонансе», в результате, если считать, что стиль «Задонщины» создан ее автором, то окажется, что автор механически соединил высокий, поэтический стиль с крайне сниженным стилем деловых документов, «соединил поэзию с б ю р о к р а т и ч е с к о й п р о з о й , на что не решался ни один экспериментатор в мире, разве только в пародиях, в юмористических произведениях»[16].

Эта композиционная неуклюжесть «Задонщины», ее режущая глаз разностильность, обилие «темных мест», непонятных и бессмысленных чтений не соответствовали высокому уровню русской литературы XV в., и именно этим объясняется, возможно, редкость и неисправность списков «Задонщины».

меньшей степени, чем Западная Европа, знакомится в это время с античной культурой, и в частности с античным эпосом и античной мифологией. Все эти примеры говорят о сходстве культурных тенденций в ряде европейских стран и, следовательно, о правомерности постановки вопроса о русском Предвозрождении.

Епифаний Премудрый. Стиль второго южнославянского влияния наиболее удобно рассмотреть на примере произведений выдающихся агиографов конца XIV-XV в. — Епифания Премудрого и Пахомия Логофета. Епифаний Премудрый (умер в 1420 г.) вошел в историю литературы прежде всего как автор двух обширных житий — «Жития Стефана Пермского» (епископа Перми, крестившего коми и создавшего для них азбуку на родном

«Сказание о Мамаевом побоище». Зато огромной популярностью пользовалось другое произведение о Куликовской битве — «Сказание о Мамаевом побоище». Это подлинный шедевр русской исторической прозы. «Сказание» — историческая повесть, но это прежде всего литературный памятник.

Начало «Сказания» торжественно, как похвальное слово: «Хощу вам, братие, брань поведати новыа победы, како случися брань на Дону великому князю Димитрию Ивановичи) и всем православным Христианом с поганым Мамаем и з безбожными агаряны. И възвыси бог род христианскый, а поганых уничижи...»

О замысле Мамая напасть на Русь рассказывается на широком историческом фоне: автор вспоминает и библейских героев Гедеона и Моисея, и римского императора Тита, и византийского Юлиана Отступника. Велеречивы послания, которыми обмениваются Мамай и его союзники — рязанский князь Олег и литовский князь Ольгерд. Олег и Ольгерд рассчитывают, что Дмитрий Иванович «отбежыть с Москвы в Великый Новгород или на Белоозеро, или на Двину», а они умилостивят Мамая «большими дары» и разделят между собой «княжение московское». Но автор «Сказания» ни на минуту не дает усомниться в безнадежности этих дерзких помыслов: «Они же скудни умом възрадовашася... а не ведуще того, яко бог даеть власть, емуже хощеть».

Дмитрий Иванович, услышав о замысле Мамая, посылает в Боровск за серпуховским князем Владимиром Андреевичем. Князья приходят за советом и благословением к митрополиту Киприану (Киприана в это время не было в Москве, этот эпизод — вымысел автора «Сказания»). Киприан советует «утолить» Мамая дарами и приводит при этом историческую параллель: византийский император Юлиан отказался принять дары, собранные жителями Кесарии, и впоследствии был таинственным образом умерщвлен святым Меркурием. Эта аналогия понятна: автор уже знал, что Мамай не примет даров Дмитрия, будет побежден в битве и бесславно убит в Кафе, генуэзском городе-колонии в Крыму.

Обстоятельно повествуется о подготовке Дмитрия к войне. Он, как советовал Киприан, посылает дары Мамаю, но одновременно готовится к обороне: отправляет на «сторожу изъбранных своих крепкых оружник», веля им «на Тихой Сосне сторожу деати с всякым усердием и под Орду ехати и язык добыти, истину слышати царева хотения», а по городам рассылает «скорых гонцов» с грамотами, оповещая: «Да вси готови будете на мою службу, на брань з безбожными ... агаряны». Князья, бояре и воины прощаются с женами, которые «в слезах и въсклицании сердечнем, не могуще ни слова изрещи, отдающе последнее целование».

Красочна картина выступления войска: князь «взыде на избранный конь свой», «солнце ему на въстоце ясно сиаеть, путь ему поведаеть[17]. Уже бо тогда, аки соколи урвашася от златых колодиць ис камена града Москвы, и възлетеша под синиа небеса, и възгремеша своими златыми колоколы, и хотять ударитися на многыа стада лебедины и гусины».

Русское войско достигает берегов Дона. Мы снова встречаем здесь отзвуки «Слова о полку Игореве»: на место будущей битвы собирается множество волков, «выюще грозно, непрестанно по вся нощи, слышати гроза велика», «галицы же своею речию говорять, орли же мнози от усть Дону слетошася... От таковаго бо страха и грозы великыа древа прекланяются и трава посьстилается»[18].

Местами «Сказание» напоминает красочную миниатюру старинной рукописи, автор словно бы любуется видом собравшегося войска: «образы святых», изображенные на русских знаменах, «аки некий светилници солнечнии светящеся в время ведра, и стязи их золоченыа ревуть, просьтирающеся, аки облаци, тихо трепещущи, хотять промолвити [ср. в «Слове»: «стязи глаголют»]... Шоломы злаченыа на главах их, аки заря утренняя в время ведра святящися. Яловпи [ленты в навершиях шлемов] же шеломов их аки пламя огньное пашется».

Рассматривая «Повесть о разорении Рязани», мы обратили внимание на композиционный прием — противопоставление шума яростной битвы тишине, воцарившейся в сожженной татарами Рязани. Такой же художественный контраст встретится и в «Сказании о Мамаевом побоище». После описания «устроенного войска», освещенного яркими лучами солнца, следует поэтическая картина ночи: «Осени же тогда удолжившися и деньми светлыми еще сиающи. Бысть же в ту нощь теплота

языке), написанного в конце XIV в., и «Жития Сергия Радонежского», созданного в 1417-1418 гг.

Основной принцип, из которого исходит в своем творчестве Епифаний Премудрый, состоит в том, что агиограф, описывая житие святого, должен всеми средствами показать исключительность своего героя, величие его подвига, отрешенность его поступков от всего обыденного, земного. Отсюда и стремление к эмоциональному, яркому, украшенному языку, отличающемуся от обыденной речи. Жития Епифания переполнены цитатами из Священного писания, ибо подвиг его героев должен найти аналогии в библейской истории. Для них характерно демонстративное стремление автора заявить о своем творческом бессилии, о тщетности своих попыток найти нужный словесный эквивалент изображаемому высокому

велика и тихо вельми, и мраци роении явишася». В эту тихую и теплую сентябрьскую ночь воевода Дмитрий Волынец с великим князем выходят гадать об исходе грядущего боя. Когда «заря померкла, нощи глубоце сущи», Волынец, став «посреди обоих полков», прислушивается. За вражескими полками слышен шум: «аки тръги снимаются [словно собирается рынок], аки град зиждуще и аки гром великий гремит», воют волки, плещут крыльями гуси и лебеди, а в стороне русских полков «тихость велика». Волынец истолковывает это как добрые предзнаменования.

Битва начинается поединком старца Александра Пересвета[19] с татарским богатырем: «ударишася крепко копии, едва место не проломися под ними. И спадше оба с коней на землю и скончашеся».

Великий князь возвещает начало битвы, используя уже хорошо знакомый нам образ битвы-пира: «Се уже гости наши приближилися и ведуть промеж собою поведеную, преднии уже испиша и весели быша и уснуша» (имеются в виду погибшие в поединке Пересвет и татарский богатырь).

Сама битва изображена в традиционных формулах боя, однако несомненно и влияние текста «Слова о полку Игореве»: «На том бо поле силнии плъци съступишася. Из них же выступали кровавыа зари, а в них трепеталися силнии млъниа от облистаниа мечнаго. И бысть труск и звук велик от копейнаго ломления и от мечнаго сечения...»

Решает исход битвы выступление запасного полка во главе с Владимиром Андреевичем и воеводой Дмитрием Волынцем. Полк находился в засаде, ожидая «урочного часа». На поле битвы явное преимущество татар: «оскудеша християне, но все поганыя полки». Автор прекрасно передает чувства, с которыми следят за ходом боя воины засадного полка. Князь Владимир Андреевич, «не моги терпети победы» (то есть поражения русских), торопит Дмитрия Волынца: «Беда, брате, велика, что убо пользует наше стояние [что пользы в том, что мы стоим], то же на смех [посмешище] нам будет, да кому будет нам помощи». Но Дмитрий Волынец и сам видит тяжелое положение русских, однако считает, что еще «не пришла година наша», и выжидает наиболее удобный момент. С горечью видят воины, находящиеся в засаде, «друзи свои побиваеми от поганых», они плачут и рвутся в бой, «аки званнии на брак сладкаго вина пити». Но Дмитрий Волынец опять удерживает их: «Пождите мало, буавии сынове русскые, будеть ваше время, коли утешитися, есть вы с кем възвеселитися!» Это состояние напряжения хорошо передает автор, и его испытывает нетерпеливый читатель. Но вот наконец Волынец «възогш... гласом великым»: «Княже Владимер, наше время приспе, и час подобный прииде!» И воины «единомысленно» выскакивают из засады, «аки сошли» и «ударилися... на ту великую силу татарскую». Татары же в отчаянии восклицают: «Увы нам, Русь паки умудрися: уншии [младшие, слабые] с нами брашася, а доблии вси съблюдошася». Враги обращаются в бегство, победа одержана.

После битвы Дмитрий Иванович, князья, воеводы и нее воины объезжают Куликово поле, «сердцем боля, кричаще, а слезами мыася», собирают и хоронят тела убитых соратников. Дмитрий Иванович обращается с благодарственной молитвой к богу и со словами прощания к тем, кто сложил голову в бою. Затем он говорит своим князьям и воеводам: «Поедем, братье... к славному граду Москве и сядем на своих вътчинах и дединах. Чести есмя себе доступили и славнаго имяни!»

В заключительной части «Сказания» сообщается о судьбе Мамая и его союзников.

Даже анализ некоторых фрагментов «Сказания» позволяет увидеть литературное мастерство его автора: стройность и продуманность композиции, торжественно приподнятый язык, обилие поэтических образов, частично навеянных «Словом о полку Игореве», такие художественные находки, как сцена нетерпеливого ожидания воинами засадного полка «своей годины» или сцена ночного гадания. Все эти черты ставят «Сказание» в ряд подлинных шедевров древнерусской литературы.

Популярность «Сказания о Мамаевом побоище» была исключительно велика. «Сказание» распространяется в многочисленных списках, текст памятника перерабатывается, дополняется, создаются новые редакции. Списки «Сказания» продолжают переписываться вплоть до начала XVIII в. Многовековая актуальность «Сказания» не только следствие высоких литературных его достоинств, это прежде всего свидетельство патриотизма русской литературы, того, какой тяжелый

явлению. Но именно эта имитация и позволяет Епифанию продемонстрировать все свое литературное мастерство, ошеломить читателя бесконечным рядом эпитетов или синонимических метафор или, создав длинные цепи однокоренных слов, заставить его вдуматься в стершийся смысл обозначаемых ими понятий. Этот прием и получил название «плетения словес».

Иллюстрируя писательскую манеру Епифания Премудрого, исследователи чаще всего обращаются к его «Житию Стефана Пермского», а в пределах этого жития — к знаменитой похвале Стефану, в которой искусство «плетения словес» (кстати, здесь оно именно так и названо) находит, пожалуй, наиболее яркое выражение. Приведем фрагмент из этой похвалы, обратив внимание и на игру словом «слово», и на ряды параллельных грамматических

след в памяти русского народа оставило монголо-татарское иго и как дороги ему были рассказы о славных победах русского оружия.

---

[1] Говоря о монголо-татарском нашествии (вслед за древнерусскими источниками, называющими завоевателей исключительно «татары»), следует иметь в виду, что речь идет о племенах татар, которые совместно с монгольскими племенами начали в XIII в. завоевательные походы из центрально-азиатских степей. Именование «татары» часто распространялось в средневековье и на все тюркоязычные племена, как участвовавшие непосредственно в походах Чингисхана и других полководцев, так и на покоряемые ими народы. Венгерский миссионер Юлиан в 1236 г. утверждал, что монголы «обязывают... (покоренных) впредь именоваться татарами». Что же касается современного населения Татарской АССР, то это — потомки коренного тюркоязычного населения Волжской Булгарии, завоеванной монголо-татарами в 1236 г. Исследователи отмечают, что название «татары» было навязано феодальной верхушкой Казанского ханства населению, которое вплоть до XVII в. предпочитало как самоназвание «булгары» или «казанцы» (см.: История Татарской АССР с древнейших времен до наших дней. Казань, 1968, с. 69-70).

[2] Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1949, т. XI, с. 268.

[3] Река *Калка* (ныне *Кальчик)* протекает в юго-западной части Донецкой области.

[4] Так, южнорусский летописец восторженно описывает доблесть восемнадцатилетнего галицкого княжича Даниила Романовича: он, раненный в грудь, не почувствовал раны «младства ради и буести» и только после битвы, когда захотел пить, «почюти рану на телеси своемь»: был он «дерз и храбор, от главы и до ногу его не бе в немь порока».

[5] В списках «Повести» этот князь именуется Ингварь Ингоревич, в летописи упоминается князь Ингвар Игоревич, умерший в начале 20-х гг. XIII в. Вопрос о тождестве этих князей спорен, видимо, князь Ингварь Ингоревич — эпический образ.

[6] С этим эпизодом связана легенда о происхождении названия города Заразска (ныне г. *Зарайск*, расположен на реке Осетр, на юге Московской области), тогда как в действительности название его происходит, видимо, от слова «заразы» — «овражистое место». При церкви Николы в Заразске и составлялся рассматриваемый цикл,, в тексте его специально поясняется, что «от сея вины [причины] да зовется великий чюдотворець Николае Заразский, яко благоверная княгиня Еупраксеа и с сыном Иваном сама себя зарази».

[7] См., например: Лихачев Д. С. «Повесть о разорении Рязани Батыем».— В кн.: Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

[8] Этот образ (один против бесчисленного множества) используется также в древнерусском переводе византийского эпоса о Дигенисе Акрите «Девгениевом деянии»: у арабского царя Амира воины «сильны и храбры, един на сто пойдет»; а сам Девгений за один «заезд» убивает по тысяче воинов.

[9] Лихачев Д. С. «Повесть о разорении Рязани Батыем», с. 234.

[10] *Куликово поле* находится на границе современных Тульской и Липецкой областей.

[11] Оба названия условны. Слово *Задонщина* употреблено лишь в составе заглавия одного из списков памятника, а «Сказание о Мамаевом побоище» чаще всего в списках именуется «Сказанием о Задонском бою» или «Сказанием о Донском побоище».

[12] Сохранилось всего шесть списков: три полных, два отрывка и один список, представляющий особую сокращенную редакцию памятника (список из собрания Кирилло-Белозерского монастыря). Кирилло-Белозерский список — конца XV в., остальные списки относятся к рубежу XVI и XVII вв. и к XVIII в., то есть значительно удалены от времени создания памятника.

[13] См.: Творогов О. В. О композиции вступления к «Задонщине». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.- Л., 1966.

[14] Текст цитируется по реконструкции, принадлежащей В. Ф. Ржиге. См.: Повесть о Куликовской битве. Изд. подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М., 1959, с. 9-17. (Серия «Литературные памятники»).

конструкций: «Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словес похваление собирая, и приобретая, и приплетая, паки глаголю: что тя нареку: вожа (вождя) заблудившим, обретателя погибшим, наставника прелщеным, руководителя умом ослепленым, чистителя оскверненым, взыскателя расточеным, стража ратным, утешителя печальным, кормителя алчущим, подателя требующим...»

Епифаний нанизывает длинную гирлянду эпитетов, словно бы стремясь полнее и точнее охарактеризовать святого. Однако точность эта отнюдь не точность конкретности, а поиски метафорических, символических эквивалентов для определения по сути дела единственного качества святого — его абсолютного совершенства во всем.

В агиографии XIV-XV вв. получает также широкое распространение принцип абстрагированности, когда из произведения «по возможности изгоняется бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны...» Писатель прибегает к перифразам, употребляя выражения типа «вельможа некий», «властелин граду тому» и т. д. Устраняются и имена эпизодических персонажей, они именуются просто как «муж некто», «некая жена», при этом прибавления «некий», «некая», «един» служат изъятию явления из окружающей бытовой обстановки, из конкретного исторического окружения»[142][2].

Агиографические принципы Епифания нашли свое продолжение в творчестве Пахомия Логофета.

Пахомий Логофет. Пахомий, серб по происхождению, приехал на Русь не позднее 1438 г. На 40-80-е гг. XV в. и приходится его творчество: ему принадлежит не менее десяти житий, множество похвальных слов, служб святым и других произведений. Пахомий, по словам В. О. Ключевского, «нигде не обнаружил значительного таланта литературного... но он... дал русской агиографии много образцов того ровного, несколько холодного и монотонного стиля, которому легче было подражать при самой ограниченной степени начитанности»[143][3].

---

[15] Характерная деталь: «испить воды из Дона» («испити шеломомь Дону») в «Слове» призывает Игорь Святославич; и это правомерно: пить из чужой реки — символ победы над врагом. Но битва с Мамаем происходила на территории Рязанского княжества, и эта воинская метафора применена здесь совершенно неуместно.

[16] Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины». (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве».) — Русская литература, 1964, № 3, с. 88.

[17] Этот фрагмент заимствован из «Задонщины», в которой он, в свою очередь, является «ответом» на образ «Слова о полку Игореве»: «солнце ему [Игорю] тьмою путь заступаше».

[18] Ср. в «Слове»: «влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовуть»; «а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие»; «ничить трава жалошами, а древо с тугою къ земли преклонилось».

[19] *Пересвет* — монах Троице-Сергиева монастыря, в прошлом брянский боярин.

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Эту риторическую манеру письма Пахомия, его сюжетную упрощенность и традиционность можно проиллюстрировать хотя бы на таком примере. Нестор очень живо и естественно описывал обстоятельства пострижения Феодосия Печерского, как отговаривал его Антоний, напоминая юноше о трудностях, ожидающих его на пути монашеского подвижничества, как всеми способами пытается вернуть Феодосия к мирской жизни его мать. Подобная ситуация есть и в «Житии Кирилла Белозерского», написанном Пахомием. Юноша Козьма воспитывается у своего дяди, человека богатого и именитого (он окольничий у великого князя). Дядя хочет сделать Козьму казначеем, но юноша жаждет постричься в монахи. И вот «случися убо прити Махрищьскому игумену Стефану, мужу сушу в добродетели съвершену, всех знаем великаго ради житиа. Сего пришествие уведев Козьма течет убо с радостию к нему... и припадает к честным ногам, слезы от очию проливая и мысль свою сказует ему, вкупе же и молит его же возложити на нь иноческий образ. «Тебе бо, рече, о, священная главо, от многа времени желах, но ныне сподоби меня бог видети честную ти святыню, но молюся господа ради, не отрини мене грешьняго и непотребна...» Старец «умиляется», утешает Козьму и постригает его в монахи (дав ему при этом имя Кирилл). Сцена этикетка и холодна: прославляются добродетели Стефана, патетически молит его Козьма, охотно идет навстречу его просьбе игумен. Затем Стефан отправляется к Тимофею, дяде Козьмы-Кирилла, сообщить ему о пострижении племянника. Но и здесь конфликт лишь едва очерчен, а не изображен. Тимофей, услышав о случившемся, «тяжко си внят слово, вкупе же и скорби исполнився и некая досадительная изрече к Стефану». Тот оскорбленный уходит, однако Тимофей, пристыженный своей благочестивой женой, тут же раскаивается «о словесих, глаголанных к Стефану», возвращает его и просит прощения.

Словом, в «стандартных» велеречивых выражениях изображается стандартная же ситуация, никак не соотносимая с конкретными персонажами данного жития. Мы не найдем здесь и попыток вызвать сопереживание читателя с помощью каких-либо жизненных деталей, тонко подмеченных нюансов (а не общих форм изъявления) человеческих чувств. Внимание к чувствам, эмоциям, которые и требуют для своего выражения соответствующего стиля, эмоциям персонажей и в не меньшей мере эмоциям самого автора несомненно.

Но это, как уже сказано выше, еще не подлинное проникновение в человеческий характер, это лишь заявленное внимание к нему, своего рода «абстрактный психологизм» (термин Д. С. Лихачева). И в то же время сам факт повышенного интереса к духовной жизни человека уже сам по себе знаменателен.

Стиль второго южнославянского влияния, нашедший свое воплощение первоначально именно в житиях (и лишь позднее — в историческом повествовании), Д. С. Лихачев предложил именовать «экспрессивно-эмоциональным стилем»[144][4].

Существенно отметить появление на Руси XV в. новых переводных памятников исторического повествования, к тому же посвященных таким популярным во всей Европе сюжетам, как история Александра Македонского и история Троянской войны.

«**Сербская Александрия».** Видимо, во второй половине XV в. на Руси становится известна новая версия романа об Александре Македонском, так называемая «Сербская Александрия», переведенная с сербского оригинала. В «Сербской Александрии», отразившей уже новые веяния эпохи Предвозрождения, выступают на первое место такие мотивы и такие художественные приемы, которые в хронографической «Александрии» или были только намечены, или вообще отсутствовали.

Прежде всего в «Сербской Александрии» в большей мере подчеркнуто, что Александр, выдающийся полководец и непобедимый герой, в то же время смертный человек, все его подвиги, все победы, все доблести не в силах отвратить неминуемого и злого рока. Тема бренности человеческой жизни возникает в «Александрии» не случайно: эта одна из тем позднего европейского средневековья и кануна Возрождения. Средневековье видело в смерти неизбежность, и в какой-то мере неизбежность благую, расписывая счастье вечной жизни (разумеется, для праведников). Но признание права человека на счастливую земную

жизнь, с ее утехами и радостями (а именно это возрожденческий мотив) резко оттеняло ужас смерти; поэтому тема бренности человеческого существования, непрочности человеческого счастья, славы, любви (с откровенным прославлением их) так занимает писателей европейского Возрождения. Тема эта находит, как мы видим, отражение и в «Сербской Александрии».

Но не одна тема ранней смерти героя формирует ее сюжет. Роман насыщен приключениями. Фантастика дальних земель, посещаемых Александром, занимает здесь еще большее место, чем в хронографической «Александрии». Старательно изображает автор эмоциональную жизнь своих героев: они плачут, «скрежещут зубами» от ярости, обращаются к друзьям и любимым с нежными эпитетами и сравнениями. Это уже знакомый нам экспрессивно-эмоциональный стиль, тем более понятный в «Александрии», пришедшей на Русь со славянского юга, из Сербии, где это стилистическое направление проявило себя особенно ярко.

Повести о Троянской войне. Значительным литературным явлением XV в. было появление цикла повестей о Троянской войне. Тема эта не была совершенно новой для древнерусской литературы — ей была посвящена пятая книга «Хроники» Иоанна Малалы, известная еще в Киевской Руси. Но книга эта, видимо, не получила широкого распространения — она известна нам в двух списках, восходящих к общему источнику, не дошедшему до нас своду XIII в.

Легенды о Троянской войне пользовались большой популярностью в средневековых европейских литературах: романы и поэмы на этот сюжет создавались (а с начала XV в. и печатались) в Италии, Германии, Франции, Чехии, Польше. В основу этих произведений были положены не «Илиада» и «Одиссея» Гомера, а романы мнимых участников войны: грека Дарета и критянина Диктиса, получившие распространение уже в IV в. н. э. За версиями Диктиса и Дарета следовали и византийские хронисты (например, Иоанн Малала), и французский поэт Бенуа де Сент-Мор (XII в.), и автор латинского прозаического романа о Трое сицилиец Гвидо де Колумна. Роман Гвидо «История разрушения Трои», написанный в 70-х гг. XIII в., дошел до нас более чем в 90 списках; в XV в., на заре европейского книгопечатания, он был неоднократно издан (например, в Страсбурге и Болонье). Одно из таких печатных изданий попало на Русь, и на рубеже XV-XVI вв. был сделан полный перевод романа о Трое. Позднее возникают переработки этого перевода, создатели которых, сокращая громоздкий и чрезмерно многословный роман Гвидо, тем не менее сохраняли все его основные сюжетные линии и коллизии. Еще ранее русские книжники познакомились с двумя другими произведениями на ту же тему: подробный рассказ о Троянской войне содержали византийская «Хроника» Константина Манассии, которая в болгарском переводе XIV в. стала известна на Руси, видимо, в конце XV в., и болгарский перевод латинской повести о Трое (ее обычно называют «Притча о кралех»), пришедший на Русь вместе с переводом «Хроники» Манассии со славянского юга.

Какое значение для древнерусской литературы и культуры имело знакомство с произведениями о Троянской войне? Дело не только в том, что Русь приобщилась к этому мировому сюжету, стала читать то, чем зачитывались их современники в других европейских странах. Знакомство с троянским циклом расширило культурный и литературно-эстетический кругозор. Русские читатели познакомились с мифами о Язоне и Медее, Елене и Парисе, Ахилле и Гекторе, Одиссее и Агамемноне, Приаме и Гекубе. Через произведения Троянского цикла (в гораздо большей степени, чем через «Сербскую Александрию») в русскую книжность вошла тема земной, плотской любви, причем без того безоговорочного отрицания и осуждения, которые встречала эта тема или, точнее доказать, сама плотская любовь в таких традиционных жанрах древнерусской литературы, как жития или учительные слова отцов церкви и русских проповедников. Летописи и исторические повести говорили, да и то крайне редко, лишь о супружеской любви, причем в совершенно этикетных коллизиях: вдова оплакивала умершего или погибшего супруга, жена, рыдая, отдавала мужу, уходящему в поход на врага, «конечное целование». Самоубийство Евпраксии, не

пожелавшей пережить любимого мужа (в «Повести о разорении Рязани Батыем»), в общем редкий для древнерусской литературы сюжетный мотив.

В произведениях Троянского цикла, напротив, немалое место занимает описание откровенно чувственной любви. Парис похищает Елену, жену царя Менелая, пленившись ее «лепотой», Медея не может сдержать своей страсти к Язону и сама назначает ему любовное свидание. Совершенно неожиданной для древнерусских литературных традиций была трактовка образа Ахиллеса. Могучий герой, которому пристали, казалось бы (по древнерусским литературным канонам), чисто мужские доблести, оказывается совершенно сраженным красотой Поликсены, юной дочери Приама. Он рыдает от переполнивших его чувств, сетует, что ему не могут помочь сил его «крепость» и его «благородная слава». Мало того, эта любовь оказывается для героя роковой: он убит в храме Аполлона, куда явился, чтобы просить согласия на брак с дочерью троянского царя.

Произведения Троянского цикла познакомили русских книжников не только с новыми героями, с дальними странами, с приключениями и чудесами, но и с коллизиями, которые не знала прежде древнерусская литература. Проявляется все больше внимания к человеку с его эмоциями (но именно эмоциями, а не характером!), страстями, страданиями и радостями, однако это все же «абстрактный психологизм», ибо разные герои одинаково радуются и страдают, выражают свои чувства одинаково: экспрессивно и неискренне.

Новшества захватывают даже такой строгий, традиционный жанр, как агиография. В начале XV в. под пером Пахомия Логофета, как мы помним, создавался новый житийный канон — велеречивые, «украшенные» жития, в которых живые «реалистические» черточки уступали место красивым, но сухим перифразам. Но наряду с этим проявляются жития совсем другого типа, смело ломающие традиции, трогающие своей искренностью и непринужденностью. Таково, например, «Житие Михаила Клопского»,

«Житие Михаила Клопского». Необычно уже само начало этого жития. Вместо традиционного зачина, рассказа агиографа о рождении, детстве и пострижении будущего святого, это житие начинается как бы с середины, при этом со сцены неожиданной и загадочной. Монахи Троицкого на Клопе (под Новгородом) монастыря были в церкви на молитве. Поп Макарий, вернувшись в свою келью, обнаруживает, что келья отперта, а в ней сидит неведомый ему старец и переписывает книгу апостольских деяний. Поп, «уполошившись», вернулся в церковь, позвал игумена и братию и вместе с ними вернулся к келье. Но келья уже заперта изнутри, а незнакомый старец продолжает писать. Когда его начинают расспрашивать, тот отвечает очень странно: он слово в слово повторяет каждый заданный ему вопрос. Монахи так и не смогли узнать даже его имени. Старец посещает с остальными чернецами церковь, молится вместе с ними, и игумен решает: «Буди у нас старец, живи с нами». Все остальное житие — это описание чудес, творимых Михаилом (имя его сообщает посетивший монастырь князь). Даже рассказ о «преставлении» Михаила удивительно бесхитростен, с бытовыми деталями, традиционная похвала святому отсутствует.

Необычность «Жития Михаила Клопского», созданного в век творений Пахомия Логофета, не должна, впрочем, нас удивлять. Дело здесь не только в самобытном таланте его автора, но и в том, что автор жития — новгородец, он продолжает в своем произведении традиции новгородской агиографии, которая, как и вся литература Новгорода, отличалась большей непосредственностью, непритязательностью, простотой (в хорошем смысле этого слова), сравнительно, допустим, с литературой Москвы или Владимиро-Суздальской Руси.

Однако «реализм» жития, его сюжетная занимательность, живость сцен и диалогов — все это настолько противоречило агиографическому канону, что уже в следующем столетии житие пришлось перерабатывать. Сравним лишь один эпизод — описание смерти Михаила в первоначальной редакции XV в. и в переделке XVI в.

В первоначальной редакции читаем: «И разболеся Михаила месяца декабря в Савин день, ходя к церкве. А стоал на правой стороне у церкве, на дворе, против Феодосиева гроба. А почали говорить ему игумен и старцы: «Чему, Михаиле, не стоишь в церкве, а стоишь на

дворе?» И он им рече: «Ту аз хочю полежати». ...Да взял с собою кадилницу да темьан [фимиам — благовоние], да шол в келью. И послал к нему игумен сети и нити от трапезы. И они отперли, ажио темьян ся курит [темьян еще курится], а его в животе нету [умер]. И почали места искати, земля меръзла, где его положити. И помянуша черньци игумену — испытай того места, где стоял Михаила. Ино с того места досмотриша, аже земля тала. И они погребоша его честно».

Этот непринужденный, живой рассказ подвергся решительной переработке. Так, на вопрос игумена и братии, почему он молится на дворе, Михаил теперь ответствует так: «Се покой мой в век века, яко зде вселитися имам». Эпизод, когда он уходит в келью, также переработан: «И кадило въжьзизает, и на углие фимиам възложив, в свою келью отходит, братиям же дивящимься, видевше святаго толико изнемогъша, и паки толику крепость приемъша. Игумен же в трапезу отходит и к святому брашно посылает, вкусити тому повелевает. Пришедъшии же от игумена и внидоша в келйю святаго, и видевше того к господу отшедша, и руце крестаобразно согбене имуща, и образом, яко спяща и благоухания многа испущающа. И шедше, възвестиша игумену святаго к господу отшедъша». Далее описывается плач при погребении Михаила; причем его оплакивают не только монахи и архиепископ «с всем священным собором», но и весь народ: люди спешат на похороны, «быстринам речным подобящася, слезы же непрестанно лиюще». Старейшины города оплакивают его как «наказателя» [советчика], юноши как «хранителя и буести воздержника», вдовы как заступника и т. д. Словом, житие приобретает под пером нового редактора Василия Тучкова именно тот вид, в каком бы создал его, например, Пахомий Логофет.

Эти попытки отойти от канонов, впустить в литературу дыхание жизни, решиться на литературный вымысел, отрешиться от прямолинейной дидактики проявились не только в житиях. В XV в. создаются и собственно повествовательные произведения, такие, как «Повесть о Дракуле» или «Повесть о купце Басарге и сыне его Добросмысле».

Если, создавая жития, подобные «Житию Михаила Клопского» [мы не касаемся здесь других подобных памятников], древнерусский писатель выступал против канонов жанра, то в повестях, к рассмотрению которых мы переходим, он выступал против канонов самой жанровой системы.

«Повесть о Дракуле». «Повесть о Дракуле» на первый взгляд типичная историческая повесть: ее герой — реальное лицо, валашский (румынский) господарь Влад (правил в 1456—1462 и 1477 гг.), прозванный за свою изощренную жестокость *Цепеш,* то есть «сажатель на кол», или *Дракула,* то есть «Дьявол». Но повесть о Дракуле — это отнюдь не история его правления и не история его деяний в той шкале иерархических ценностей, в которой и могли рассматриваться деяния правителя. Все эпизоды повести — это частные поступки Дракулы, и смысл их скорее можно было бы назвать историческими анекдотами, в них есть острое словцо или неожиданный, экстравагантный поступок, они были бы забавными рассказами о мудром, не терпящем лицемерия и обмана правителе и толпе его антагонистов — жадных, ленивых, глупых, заносчивых и т. д., если бы не одно обстоятельство: Дракула изощренно жесток. Излюбленный вид казни, к которой он приговаривает за малейшую оплошность, — сажать на кол.

Приведем лишь несколько примеров. Дракула призывает к себе со всей своей страны нищих и спрашивает их: «Хощете ли, да сотворю вас беспечалны на сем свете, и ничим же нужни будете [и ни в чем не будете нуждаться]?» Получив утвердительный ответ, он приказывает запереть их в сарае и сжечь и объясняет свой поступок тем, что освободил свою землю от нищих, а их избавил от нужды и недугов. В другой раз, увидев крестьянина в рваной и ветхой одежде, он велел привести к себе его жену. Та оказалась молодой и здоровой женщиной. Установив, что в доме есть из чего прясть и ткать и только из-за лени своей она не «чинит» мужу своему «одежю светлу и лепу», Дракула приказывает отрубить ей руки, а тело водрузить на кол.

Однако в чем-то жестокость Дракулы и благотворна: он не терпит воровства и разбоя. И вот поэтому в его земле у колодца, в безлюдном месте может стоять «чаша велика и дивна злата», все пьют из нее, но никто не смеет ее украсть.

Как воспринимал древнерусский читатель «Повесть о Дракуле»?

Не похожая на историческое повествование — без дат, с малым числом исторических «деяний», состоящая по существу из эпизодов анекдотического характера, сочетавших в себе страшное и веселое, мудрость и шутовство, повесть эта была типичным для позднесредневековой литературы произведением, в котором отражался «жестокий уклад жизни»; и автор, и читатель как бы раздумывали над вопросом: не есть ли сочетание жестокости и справедливости — неизбежное свойство правителей в это сложное и страшное время[145][5]?

«Повесть о Басарге». Иной характер носила «Повесть о купце Дмитрии Басарге и сыне его Борзосмысле». Сюжет ее непритязателен и напоминает народную сказку о мудром простаке. Купец Басарга, плывший на своем корабле из Царьграда, попадает в бурю, «ветры велия» носят его по морю «тридесят дней». Так он оказывается в Антиохии, где правит жестокий царь Несмеян, который «томит и мучит» своих подданных, заставляя их принять «латинскую веру». Прибывающим в Антиохию купцам Несмеян загадывает три загадки, которые, однако, никто не может отгадать. Купцы попадают в темницу, где «терпят скорбь и нужду велику». Узнав, в какой стране он оказался, Басарга спешит ее покинуть, но «царевы стражи» не дают кораблю отплыть. Купец пытается откупиться от Несмеяна дарами, однако тот, выяснив, что Дмитрий Басарга исповедует православие, велит ему, как и другим, явиться через три дня и отгадать три загадки. Басарга в горе возвращается на корабль. Его семилетний сын, беззаботно игравший в момент возвращения отца, узнав о случившемся, успокаивает его и обещает сам отгадать загадки Несмеяна. Мальчик по имени Борзосмысл действительно отгадывает загадки, а царю отсекает мечом голову. Жители Антиохии избирают его царем. Борзосмысл восстанавливает в Антиохии православие, выпускает из темниц патриарха и томящихся там купцов.

Этот наикратчайший пересказ сюжета повести позволяет тем не менее судить о ее характере и месте в литературе XV в. Она свидетельствует о вторжении в литературу откровенного вымысла. Даже доверчивые читатели не могли бы воспринять повесть, несмотря на имеющийся в ней «точный» географический ориентир (упоминание города Антиохии), как историческое предание: слишком веяло сказкой от победы семилетнего Борзосмысла над грозным царем Несмеяном (которому мальчик даже отрубает голову на глазах у всего народа!) и от беспрепятственного восшествия отрока на царский престол. Фольклорные мотивы в повести подчеркнуто заявляют о себе: это и неоднократно используемое эпическое число *три (тридцать дней* буря носит корабль, *триста* и *тридцать* купцов томятся в темницах. Несмеян загадывает *три* загадки, дает Басарге сроку для раздумий *три* дня, Борзосмысл *втроем* отправляется к Несмеяну[146][6], отгадывание загадок происходит в течение *трех* дней и т. д.), и «говорящие» имена (Несмеян, Борзосмысл), и, как уже сказано, типично сказочная фабула (мудрый простак), и сказочная же развязка — победа слабейшего над сильным, счастливая женитьба Борзосмысла на семилетней, но «красной и мудрой» дочери Несмеяна.

Известно, как резко разделялись литература и фольклор. Лишь в летопись проникали фольклорные предания, но это были исторические легенды, которые воспринимались как быль. Теперь же в высокую литературу входит несомненно сказочный сюжет. Это стало возможным лишь в обстановке Предвозрождения, когда начинает разрушаться жесткая система литературных жанров. Впрочем, повесть эта, несомненно, осложнена и типично книжными мотивами: вспомним хотя бы латинство Несмеяна или заимствованный из «Сербской Александрии» эпизод с тремя золотыми чашами, которые Борзосмысл берет у

145

146

Несмеяна для себя, отца и раба со словами: «Царево даяние не ходит вспять», но в дальнейшем это «царево даяние» не играет никакой роли[147][7].

Итак, литература XV в. представляет собой очень сложное явление. В это время необычайно расширяется мировоззренческий кругозор: создаются обширные летописные и хронографические своды, в сферу литературных интересов входят отголоски античного эпоса. В книжной традиции получают широкое распространение так называемые энциклопедические сборники, содержавшие разного рода справочные статьи: сведения исторического характера (хронологические выкладки, перечни императоров, деятелей церкви), географические и астрономические сведения.

Расширяется диапазон тем и мотивов: в литературу проникают элементы чистой занимательности (приключения и фантастика в «Сербской Александрии», зловещие, но занимательные анекдоты «Повести о Дракуле», удивительная история юного Борзосмысла); получает права литературного гражданства тема чувственной любви (в «Сербской Александрии» и особенно в сказаниях о Троянской войне).

Эмоциональная жизнь персонажей изображается по-разному: то этикетно велеречиво (как в житиях, в «Сказании о Мамаевом побоище», в «Сербской Александрии»), то с удивительно искренней непосредственностью (как в «Житии Михаила Клопского»). Психологизм, пусть даже «абстрактный психологизм», присущ почти всем без исключения повествовательным жанрам. Эмоционально-экспрессивный стиль, проявившийся первоначально в агиографии, начинает завоевывать все более широкие сферы, он решительно вторгается в XV в. и в историческое повествование.

Наконец, литература рассматриваемого периода соединяет в себе памятники разных литературных тенденций: «Повесть о Дракуле», «Повесть о Басарге», некоторые новгородские жития отражают стремление своих создателей отойти от канонов традиционных жанров как в структуре своих сюжетов, так и в речевых средствах.

Все эти тенденции, как можно было бы ожидать, подводили русскую литературу к новому этапу ее развития — к русскому Ренессансу.

---

[148][1] См.: Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.-Л., 1962; он же. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, гл. 2.

[149][2] Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.-Л., 1962, с. 53-54.

[150][3] Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с. 166.

[151][4] См. об этом: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, гл. 4; Дмитриев Л. А. Нерешенные вопросы происхождения и истории экспрессивно-эмоционального стиля XV в. — ТОДРЛ. М.-Л., 1964, т. XX.

[152][5] См.: Истоки русской беллетристики. Л., 1970, с. 378-380. Исследователь древнерусской литературы Я. С. Лурье полагает, что «Повесть о Дракуле» могла быть написана русским дипломатом Федором Курицыным, посетившим в составе посольства Венгрию. Там он мог слышать предания о Дракуле и использовать их в своей повести. Почти все эпизоды русской версии имеют аналогию в немецких и венгерских повествованиях о Дракуле.

[153][6] С мальчиком идут отец и слуга, хотя оба они в дальнейшем не играют никакой роли.

147
148
149
150
151
152
153

[154][7] В «Сербской Александрии» есть такой эпизод: Александр, явившийся к персидскому царю Дарию под видом македонского посла, прячет за пазуху каждую чашу, из которой пьет на пиру, объясняя, что таков македонский обычай. Этот поступок имеет смысл: чаши послужат Александру доказательством, что он якобы послан Дарием «стражу утвердити», и городские «вратари» выпустят спасающегося от погони героя из персидской столицы.

ЛИТЕРАТУРА XVI В.

На рубеже XV-XVI вв. в русской литературе наступает решительный перелом. Те гуманистические тенденции, которые позволяли говорить об эпохе русского Предвозрождения XIV-XV вв., не получили дальнейшего развития. Начавшийся процесс освобождения литературы от регламентирующего влияния церкви и религиозных догм был насильственно прерван.

Этот перелом хорошо заметен при сопоставлении русской литературы XVI в. с литературами западных славян. Во многом сходные в предшествующем столетии, они теперь начинают существенно различаться. В Чехии и в Польше в XVI в. в переводах и латинских оригиналах распространяются сочинения античных авторов и западных гуманистов, появляется множество произведений чисто беллетристического характера: рыцарский роман, сатирическая и бытовая новелла; создается национальный театр.

На Руси же, напротив, из рукописного репертуара в XVI в. исчезают как раз те литературные памятники, в которых наиболее отчетливо проявлялись черты предвозрожденческой жанровой свободы — памятники, не имеющие какого-либо делового назначения. В списках XVI в. нам не известна ни «Сербская Александрия», ни басенный цикл, получивший на Руси именование «Стефанит и Ихнилат», ни «Повесть о Дракуле», ни «Повесть о Басарге», ни такие произведения более раннего периода, как «Повесть об Акире Премудром» или «Сказание об Индийском царстве».

Наблюдения над составом монастырских библиотек позволили установить, что среди книг, сочиненных, переведенных или переписанных в XVI в., значительно ниже, чем в предшествующем столетии, удельный вес памятников светского содержания. В основном библиотеки пополняются теперь либо богослужебными книгами, либо церковно-догматическими сочинениями, либо памятниками, предназначенными для соборного, то есть коллективного, чтения: житиями, поучениями отцов церкви и т. д.

Если бытовая повесть или занимательная легенда почти совершенно исчезают из круга чтения книжников XVI в., то широкое распространение получают жития, хроники, исторические повести. Огромное значение приобретает в XVI в. публицистика. В публицистических сочинениях Ивана Грозного, Андрея Курбского, Ивана Пересветова поднимаются важнейшие проблемы государственного управления, взаимоотношений государя и подданных, церкви и великокняжеской или царской власти. В сочинениях церковных иерархов (Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, митрополита Даниила) ведется полемика с еретиками, обличаются общественные пороки, ведутся споры по вопросам церковного быта и т, д. Расцвет публицистики в XVI в. совершенно естествен — это было время сложных процессов государственного строительства, напряженной идеологической борьбы. К решению этих важнейших общественных задач и были привлечены основные литературные силы. В этом одна из причин, почему литература вновь становится по преимуществу деловой. Но другая и, пожалуй, основная причина происшедших изменений в развитии литературы состоит в том, что влиятельные церковники не только беспощадно расправились с еретиками, а заодно и со всякого рода проявлением свободомыслия, но и объявили решительную борьбу светскому началу в литературе — «неполезным повестям», «глумам и смехам», «писаниям внешним»[155][1]. Церковь решительно требует, чтобы христиане не избегали «душеполезных повестей», «божественного писания». Эту идею

регламентировать круг душеполезного чтения в наилучшей степени реализовал гигантский кодекс, созданный по инициативе новгородского архиепископа Макария (впоследствии митрополита), — «Великие минеи-четьи» — свод всех «святых книг», которые «обретаются» на Руси.

Для литературы XVI в. характерно стремление к созданию монументальных «обобщающих предприятий» (термин А. С. Орлова). Это и обширный хронографический свод — «Русский хронограф», это и самая крупная из русских летописей — Никоновская, это многотомный, роскошно иллюстрированный Лицевой свод, уже упомянутые «Великие минеи-четьи», «Степенная книга» — собрание биографий всех выдающихся деятелей русской истории и, наконец, стоящий уже на грани литературы и деловой письменности «Домострой» — свод «поучений и наказаний всякому православному христианину, мужу и жене, и чадом, и рабом, и рабыням».

Почти все названные памятники (исключая разве «Домострой») удивительно близки по стилю: XVI век — время торжества экспрессивно-эмоционального стиля, однако утратившего прелесть новизны (особенно в агиографии), ставшего чрезмерно напыщенным и манерным. Это век «второго монументализма» (термин Д. С. Лихачева), как бы повторяющего в новой обстановке и на новом уровне монументальный историзм XI-XII вв. Это литература торжествующей и уверенной в своей непогрешимости царской власти, торжествующей в своей непреклонной ортодоксии церкви. Царство Ивана IV, построенное на крови бесчисленных жертв опричнинного террора, на подавлении всякой «неканонической» идеи, уже в конце века рухнет. Русь будет ввергнута в водоворот политических катаклизм: народных восстаний, нашествий иноземных захватчиков, ожесточенной борьбы за власть различных боярских группировок. Но все это еще впереди. В XVI в. Русь вступала как могучая держава, стряхнувшая последние оковы иноземного ига, уничтожившая остатки былой феодальной раздробленности (в 1478 г. потеряла свою былую автономию Новгородская земля, в 1510 г.— Псковская земля, около 1521 г. было присоединено Рязанское княжество). Литература, согласно замыслам идеологов времени Василия III и Ивана IV, должна была неукоснительно служить только великим целям великого государства.

Познакомимся с некоторыми наиболее значительными литературными памятниками XVI в.

«Русский хронограф». Первым по времени создания из числа «обобщающих предприятий» XVI в. был «Русский хронограф». Долгое время считалось, что он был создан еще в середине XV в., но исследования последних лет позволили со всей убедительностью определить время его составления — 10-е, а может быть, начало 20-х гг. XVI в. «Хронограф» сыграл исключительную роль в русской культуре XVI в., причем велико его значение и как памятника историографии и как литературного памятника.

Понять замысел создания «Хронографа» и временные рамки, которые он охватывал (созданный в начале XVI в., он был доведен лишь до 1453 г.), можно, лишь вернувшись к событиям 50-х гг. минувшего столетия. В 1453 г. турки после полуторамесячной осады захватили Константинополь. Казалось бы, с военной точки зрения это событие не было неожиданным: когда-то гигантская и могущественнейшая Византийская империя к началу XV в. сократилась до ничтожнейших размеров. Против многотысячной турецкой армии Византия смогла выставить лишь около семи тысяч людей, способных носить оружие (из них две тысячи наемников), 400 турецким кораблям противостояло не более 25 судов. Словом, падение Константинополя было предрешено.

И тем не менее гибель Византийской империи — оплота христианства на юго-востоке Европы, страны с огромным культурным и идеологическим авторитетом — была воспринята во всей Европе и особенно на Руси как тяжелая катастрофа.

155[1] В болгарском переводе XIV в. византийской «Хроники Константина Манассии» словами «писания внешние» переведен греческий текст, буквально означающий *басни Эзопа.*

В XVI в. в Московской Руси формируется новая историографическая концепция. Ее связывают с именем старца Филофея, монаха Елеазаровского монастыря под Псковом. Использовав прежние историографические воззрения, согласно которым история есть история чередующихся, сменяющих друг друга «мировых царств», Филофей подводил к мысли, что за грехи пал «ветхий Рим», пал и «новый Рим»» — Константинополь, ибо, согласившись на унию, с католиками (на Флорентийском соборе 1439 г.), греки изменили православию, и наступило время «третьего Рима» — Москвы. Москва — это последний Рим, «четвертому Риму не быти». С этой концепцией прямо перекликается заключительная глава «Русского хронографа», повествующая о взятии Царьграда турками: многие «благочестивыя царствия ...безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть. Наша же Российская земля... — торжественно вещает хронист, — растет и младеет и возвышается», и суждено ей «расти и младети и расширятися и до скончания века», то есть пока существует «этот» мир.

В «Русском хронографе» обстоятельно изложена вся мировая история от сотворения мира и до 1453 г. В «Хронограф» входят довольно подробный пересказ «исторических» библейских книг, сведения о царях Вавилона и Персии, «Александрия», «Повесть о Троянской войне», история Рима начиная с легендарного прибытия в Италию Энея и основания Рима, история Византии, история южных славян и история Руси от Олега и Игоря и до середины XV в. «Русский хронограф» был первым хронографическим сводом, в котором подробное изложение русской истории велось на равных правах с историей Рима и Византии.

Нас интересует сейчас не столько историографическое значение этого памятника, сколько его литературный облик. Но здесь нам придется сделать одно отступление. В XII в. византийский историк Константин Манассия написал стихотворную хронику. Хотя в принципе структура ее была традиционна — от сотворения мира до современности (хроника доведена до византийского императора Никифора Вотаниата, царствовавшего в 1078-1081 гг.), в отличие от многих средневековых хронистов Константин Манассия свел до минимума библейскую историю, но зато охотно пересказывал различного рода занимательные анекдоты из жизни восточных царей, римских и византийских императоров. Особую главу Константин посвятил Троянской войне. При этом «Хроника Манассии» была написана тем самым экспрессивно-эмоциональным стилем, который, как мы уже знаем, вошел в моду у южных славян и на Руси с конца XIV в.

«Хроника Манассии» была переведена в XIV в. на болгарский язык, а какой-то из списков этого болгарского перевода попал на Русь и оказался в поле зрения составителя «Русского хронографа». Тот высоко оценил этот источник: он включил в состав своего, хронографического свода почти полностью текст «Хроники» и постарался сохранить ее стиль, хотя и несколько упростил довольно трудный язык болгарского перевода. Стиль «Хроники Манассии» настолько выделяется среди стилей других источников «Русского хронографа», что исследователи обычно называют его стилем хронографа. Этот яркий, витиеватый стиль ранее на Руси в историческом повествовании не встречался.

Но дело не только в самом стиле. Как уже говорилось, «Хроника Манассии» была своего рода собранием исторических анекдотов, героями которых оказывались не только цари или императоры, но и широкий круг их приближенных и подданных. Занимательность повествования Манассии в сочетании с экспрессивным красочным слогом памятника принесла популярность и самому «Хронографу». Он претерпит ряд изменений в течение XVI-XVII вв., будут созданы новые его редакции, но фрагменты из «Хроники Манассии» останутся непременным их компонентом, а в XVII в. и русские события начнут излагаться тем же цветистым слогом, который мы встречаем впервые в этой византийской хронике.

Чтобы получить представление о стиле «Хроники Манассии» (в составе «Хронографа») и приемах ее сюжетного повествования, приведем лишь один пример: рассказ о судьбе Евдокии, жены византийского императора Феодосия Малого.

«Царица же Евдокия благополучно плавала в море житейском, носимая ясными и тихими ветрами, но внезапно дунуло, словно буря, зло и сотрясло ладью, как лист. Что же это была за напасть, расскажут дальнейшие слова. Когда жили они с царем Феодосием, кто-то принес яблоко, красивое и прекрупное. Царь же удивился чудесному виду плода, и красоте его и величине поразился, и одарил бедняка, принесшего его, ста пятьюдесятью золотыми монетами, а яблоко послал, как новый подарок, своей царице, и это явилось началом великих бед. Поразилась и царица виду яблока и послала его к светлому другу царя Павлину, в знак благосклонности своей, так как он помог ей взойти на высоту престола царского, яблоком, зло в себе таящим, этого мужа почтила. А он назад к царю отсылает, не зная, что от царя к царице оно пришло, ибо не пришлось ему при этом присутствовать. Царь же, взяв, спрятал яблоко и спросил о нем царицу. Она же сказала, что съела его, и поклялась в этом. Царь же показал ей яблоко. И с тех пор овладели им недобрые думы, что она нежность проявляет к Павлину, и вот Павлин смерть принял от него и пал под мечом. А царица, увидев гнев царя, испросила его разрешения уехать с богатыми дарами в Иерусалим. И там со многими отцами беседовала и с великим Евфимием и многие монастыри и церкви обновила...»

Этот фрагмент для удобства читателя мы привели в переводе (хотя и старались по возможности сохранить стиль оригинала) как пример сюжетного рассказа из «Хроники Манассии». Но познакомимся и с покорившим русских книжников стилем этого источника.

Вот как рассказывает хронист о полководце Велизарии, после блистательных побед оклеветанном и впавшем в немилость:

«И сему в победах великому Велизарию зависть позавиде, иже [который] Хозроя, персом царя, устрашивый, иже в бранях лвояростен, завистью повоеван бысть, лютым зверем, без воин и оруженосец, испи, увы, напастную чашу... О зависти, зверю лютый, разбойниче, гонителю, скорпие многожалная, тигру человекоснедный, былка [трава] смертна! И доколе [до коих пор], злодею, житие смущавши? И аз бо яко непотребен в твоя впад длани, искусив твоа стрелы, лежа еле дыша, препобежает [совсем одолевает] мя страсть [мучения] и смущает мя плач и призывает слезы из моею очию».

Умирает император Юстин. Хронист патетически восклицает: «Но обаче [однако], мало пожив, успе [уснул] сном невостающим и опщим. О, смерти, всех не щадящи! Како камень прикры такова мужа! О безна [преисподня, бездна], иже и добра естества [достойного, благочестивого] не милуеши, но вкупе всех полагавши во гробе погребены!»

Буря разметала флот врагов, осаждавших Константинополь. Хронист скажет об этом так: «И убо дохну ветер свиреподыханен и буря воздвиже превращения многомутнаа, и вси погрязоша [погрузились], яко олово в воде морсцей».

Император Юстиниан приказывает разорить Херсонес, где находился прежде в ссылке: «в помыслех огорчеваяся на них [херсонцев], яко на варварообразны [точно на варваров-чужеземцев], и сих ради посылает воя по морю на них, повелевает вкупе весь род заклати [истребить] прооскорбивших его, и не пощадети ни жен, ни детей, ни старых, ни юнных. Сице горце клопоташе [клокотал] иже на них гневом. И убо достойна есть плача херсоньских жителей страсть [страдания], подвизающе на рыдание человеколюбивых... толма бо младенци токмо убийственными закалахуся дланми, зде же престаревшиися и седин и цветущий юноша и жены чистообразны и отроковица и младенци вкупе раздробляхуся. Рыдание повсюду и плач велегласен, и горы убо сопротив плачющим возглашаху [горы отвечали плачущим], брези же волнами спрем [в ответ] шумяху».

Приведенных примеров, думаем, достаточно, чтобы представить себе стиль «Хроники» (и соответственно «Русского хронографа»). Автор словно бы приближает и себя, и своего читателя к историческим персонажам: их оплакивает, с ними негодует, заставляет саму природу откликаться на человеческое горе. В «Хронографе» (особенно в той части его, которая восходит к «Хронике Манассии») нет исторических частностей — здесь все масштабно, здесь сталкиваются сильные страсти: либо неслыханная жестокость, либо неописуемое благочестие. Если же автор обращается к частным эпизодам — к истории

царицы Евдокии со злополучным яблоком — или рассказу о неподкупном судье, заступившемся за бедную вдовицу, или повествует, как императора Августа его приближенный отучил от прелюбодейства, то все такие истории обязательно либо занимательны, либо нравоучительны, а чаще всего занимательны и нравоучительны вместе.

Таким образом, оставаясь прежде всего важнейшим памятником историографии, «Русский хронограф» одновременно познакомил древнерусского читателя, привыкшего к строгой и деловитой летописной истории, с историей хронографической, продолжавшей в какой-то мере традиции античной историографии — историей как сводом нравоучительных новелл из жизни людей прошлого.

«Русский хронограф» в доступной, занимательной, яркой форме поведал читателю о всемирной истории. Наряду с «Хронографом» составляется и столь же обширный, монументальнейший летописный свод — так называемая Никоновская летопись.

«Великие минеи-четьи». Но, пожалуй, самым грандиозным, литературным замыслом XVI в. было создание «Великих миней-четьих». Минеи существовали в двух основных видах: служебные, содержавшие только службы святым, почитаемым в данный месяц и расположенные по дням их памяти, и четьи, предназначенные для чтения и содержавшие тексты житий и сказаний о праздниках. В минеях-четьих материалы также располагались по месяцам и дням. Так как некоторые жития бывали слишком велики по объему, то для миней-четьих нередко составлялись специально сокращенные — «минейные» редакции.

Но в XVI в. чтили полноту, исчерпанность, грандиозность. Новгородский архиепископ Макарий решает создать «Великие минеи-четьи», в которых были бы собраны не только «всех святых отец жития и мучениа святых мученик и святых мучениц», но «все книги четьи»: книги священного писания, патерики, сочинения отцов церкви, а также такие произведения, как «Пчела» (сборник переводных изречений), «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хожение игумена Даниила», «Христианская топография» Космы Индикоплова, содержавшая свод средневековых представлений о Земле и т. д. В двенадцать огромных томов (13 528 листов размером 37х25 см) вошли «все святыя книги... которые в Руской земле обретаются, и с новыми святыми чюдотворцы». Это последнее дополнение не случайно: Макарий и его сотрудники не только собрали и переписали существовавшие ранее памятники, но специально для «Миней» создали ряд новых житий или новые редакции старых житий.

Работа над «Минеями» продолжалась около 20 лет. Были созданы три списка: один из них положен в Софийский собор в Новгороде, другой изготовлен для Успенского собора в Москве, третий — для царя Ивана IV. Разумеется, воспроизводить новые списки «Великих миней-четьих» было слишком затруднительно. Макарий едва ли на это и рассчитывал, но он, видимо, полагал, что его «Минеи» явятся как бы рекомендательным сводом произведений, которые заслуживают переписки и чтения, признаются «святыми книгами», с которыми должен быть знаком (в идеале, разумеется) каждый благочестивый христианин: не случайно в «Минеи» не были включены все те «неполезные» повести, против которых выступала с начала XVI в. воинствующая церковная реакция.

«Казанская история». Литературные тенденции XVI в. хорошо иллюстрируются обширным историческим повествованием о взятии Иваном Грозным Казани — «Сказанием сиречь историей о начале царства Казанского и о бранех и о победах великих князей Московских со цари Казанскими, и о взятии царства Казани, еже ново бысть», сокращенно называемым «Казанской историей». Написанная в 60-х гг. XVI в. «Казанская история» дошла до нас в многочисленных списках уже более позднего времени (XVII-XVIII вв.). Автор «Казанской истории» создал не историческое и документальное повествование, а литературное произведение, в котором рассказ о взятии Казани предваряется рассказом о легендарной истории города и Казанского царства. В нем с батальными сценами соседствует описание дворцовых интриг в Казанском царстве, раскрывается образ «красносолнечной», но коварной и жестокой казанской царицы Сумбеки.

Автор «Казанской истории» усердно пользуется всем арсеналом традиционных метафор, сравнений, этикетных описаний, выработанных русским историческим повествованием XV-XVI вв. В «Истории» обнаруживаются явные параллели с «Повестью о взятии Царьграда» Нестора-Искандера, с «Русским хронографом», с «Повестью о взятии Рязани Батыем», возможно, и с переводом «Троянской истории» Гвидо де Колумна. Но, обильно используя этикетные формулы, автор тем не менее, как отметил Д. С. Лихачев, допускает «разительное нарушение этикета»[156][2]: он применяет к врагу образы и эпитеты, которые, согласно этикету, могли быть применены лишь к русским князьям или воинам, и, напротив, описание поведения русских воинов в захваченной Казани было бы уместно встретить, например, в описаниях разорения русских городов во время нашествия Батыя или Мамая.

Автор не стремится соблюсти литературный этикет как средство выражения авторской и читательской оценки событий, он заботится лишь об «украшении» своего изложения, об эмоциональности и красочности своего слога. На примере «Казанской истории» мы видим, что в XVI в. «из явления идеологического принуждения этикет стал явлением оформления государственного быта. ...Этикетный обряд существует, но он отрывается от ситуации, его требующей»[157][3].

В «Казанской истории» мы встретим уже знакомый нам по творчеству Епифания Премудрого прием, когда автор множит эпитеты, синонимичные определения, но теперь уже не столько для раскрытия сложной сущности явления, сколько для создания впечатления о масштабности, грандиозности описываемых событий. Каждая фраза и каждое определение как бы двоится, автор не просто повторяется, он искусственно нагнетает словесную «напряженность», «многоэтажность» своих описаний, иногда теряя — ради пышности слога — чувство меры, не говоря уже о нарушении этикетной «маркированности» своих и чужих, положительных и отрицательных героев произведения.

Вот как повествует автор «Казанской истории» о страданиях русских воинов от жары во время похода на Казань: «Мнози же человецы изомроша от солнечнаго жара и от жажды водныя, исхоша [иссохли] бо вся дебри и блата и вси малыя реки полския [полевые] не тецаху путем своим, но мало развис воды в великих реках обреташеся и во глубоких омутех, но той сосудами, и корцы, и котлы, и пригорщами в час един до суха исчерпаху, друг друга биющи, и угнетающи, и задавляющи...»

Патетичны и насыщены традиционными формулами описания битв: «велик шум на высоту взимается, и мнози от сбою страну падоша, аки цветы прекрасный»; «и от пушешнаго и от пищалнаго гряновения, и ото многооружнаго скрежетания и звяцания, и от плача и рыдания градцких людей, и жен, и детей, и от великаго крычания, и вопля, и свистания, ото обоих вой, ржания и топота конского, яко велий гром и страшен зук [звук]... слышашеся»; «и яко великия лужи дождевныя воды, кровь стояше по ниским местом и очерленеваше землю, яко речным водам с кровию смеситися, и не можаху людие из рек по 7 дни пити воды, конем же и людем в крови по колену бродити».

Рассчитанная на внешний эффект перенасыщенность образами, избыточность описаний особенно наглядна в последнем примере.

Персонажи «Истории» говорят много и красиво. В речах, молитвах, плачах действующих лиц мы встречаем отголоски то «Русского хронографа», то плача Ингваря Ингоревича из «Повести о разорении Рязани», то плача жены Александра Македонского Роксаны из «Сербской Александрии». Плач казанской царицы Сумбеки (в части своей) по структуре напоминает нам монолог Игоря Святославича. Плененная царица Сумбека оглядывается на Казань и патетически восклицает: «И где ныне бывшая в тебе иногда царьския пирове и величествия твоя? и где уланове, и князи, и мурзы твоего красования и величания? и где младых жен и красных девиц ликове, и песни, плясания? И вся та ныне

156[2] См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд. Л., 1971, с. 117.

157[3] См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд. Л., 1971, с. 116.

исчезе и погибоша; в тех место быша в тебе много народнаго стонания и воздыхания, и рыдания непрестанно».

Приближенные скорбят о Сумбеке, и скорбь эта также изображена в риторических формулах и образах, аналогии которым мы находим, например, в «Русском хронографе»: когда царица падает на руки своих «рабынь» и «пусти глас свой с великим плачем», то побуждает «с собою на плач и то бездушное камение», приближенные и прислужницы ее «лица своя красныя деруще, и власы рвуще, и руце и мыщцы кусающе».

Если в «Русском хронографе» или «Великих минеях-четьих» мы встречались с монументальностью композиции, широтою охваченного материала и хронологических дистанций, то в «Казанской истории» монументальность этого рода также присутствует (это не только история падения Казани, но и история Казанского царства от его становления до гибели и присоединения к Руси), однако на первый план все же выступает монументальность форм, та пышность, декоративность и громоздкая «театральность», которая была так чтима книжниками XVI в. — века «второго монументализма».

«Повесть о Петре и Февронии». Помимо многочисленных публицистических произведений, в XVI в. были написаны или переработаны многие жития, создавались дидактические (нравоучительные) повести, подобные «Повести о царице Динаре» или «Повести о Евстратии», получил широкое распространение переведенный с польского «диалог» «Жизни и Смерти» («Прение живота и смерти») и т. д. Наивысшее достижение литературы Древней Руси этого времени — «Повесть о Петре и Февронии».

Долгое время эту повесть считали написанной в XV в.: несомненное присутствие в ней фольклорных мотивов, тонкий лиризм, сюжетная занимательность — все эти черты несомненно роднят ее с литературой конца XV в., литературой эпохи русского Предвозрождения. Возможно, первоначальный вариант повести действительно сложился в это время, но окончательную обработку она получила в 40-е гг. XVI в. под пером Ермолая Еразма[158][4].

Содержание «Повести» таково. К жене муромского князя Павла повадился летать «на блуд» змей, принимавший облик ее мужа. Жена рассказывает обо всем супругу, и тот советует ей узнать у змея, «от чего ему смерть хощет быти». Змей проговаривается: «Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова же меча». У Павла был брат Петр. Он готов убить змея, но не знает, где находится Агриков меч. Однако во время молитвы в церкви к нему подходит неведомый отрок и указывает, что меч лежит «во олтарной стене» в щели между камнями. Петру удается застать у снохи змея, принявшего, как обычно, образ Павла. Он убеждается, что это действительно змей, и рассекает его мечом. Змей принимает свой подлинный облик и в судорогах издыхает. Однако на теле Петра там, куда попали капли змеиной крови, появились неизлечимые язвы.

Петр приказывает своим слугам отправиться в Рязанскую землю, где, как он слышал, есть хорошие врачи. Один из княжеских отроков приходит в деревню Ласково. Он заходит в избу и видит: «седяше бо едина девица и ткаше красна [холст], а перед нею же скача заяц». Юноша начинает расспрашивать девушку и поражается мудрым ее ответам. Он рассказывает ей о болезни князя. Девушка (ее зовут Феврония) велит, чтобы князя привезли к ней, и обещает его вылечить, если он «будет мяхкосерд и смирен во ответах». Князя привозят в деревню; Петр спрашивает, кто его будет лечить, и обещает щедро одарить врачевателя. Феврония отвечает, что лечить будет она сама, а за исцеление князь должен жениться на ней. Но князь не согласен взять в жены дочь простого «древолаз ца» (бортника). Тогда Феврония отдает слугам князя мазь и велит помазать все струпы на его теле, кроме одного. Князь следует совету Февронии, и «наутрие... узре все тело здорово и гладко». Остался лишь один, непомазанный струп. Обрадованный князь посылает девушке дары, но жениться на ней отказывается «отечества ее ради», то есть из-за ее происхождения. Оскорбленная Феврония, однако, не принимает княжеских даров.

158[4] См.: Дмитриева Р. П. Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979.

Петр возвращается в Муром, но от оставшегося на теле струпа болезнь начинается изнова. Князь снова едет к Февронии, она снова излечивает его, но теперь он не решается отказать Февронии, и дочь бортника становится муромской княгиней.

Бояре и особенно боярские жены всячески досаждают ей, попрекая Февронию ее происхождением, и в конце концов добиваются того, что Петр согласен расстаться с женой. Она готова покинуть Муром, но просит разрешения взять с собой то, что пожелает. Бояре охотно соглашаются. Тогда Феврония берет с собой в изгнание своего мужа Петра.

Петр и Феврония уезжают. Однако Петр печалится и не может смириться с неожиданным поворотом своей судьбы; но Феврония спокойна и убеждает супруга: бог «не оставит нас в нищете быти». И действительно, вскоре их нагоняют муромские вельможи и просят Петра вернуться: в отсутствие князя в его земле начались кровопролитные распри между претендентами на власть. Петр и Феврония возвращаются и долгие годы мирно княжат.

Когда наступает старость, супруги молят бога, чтобы им довелось умереть одновременно. Они наказывают приближенным, чтобы их положили в одном гробу, «едину токмо преграду имуще меж собою».

Петр первым чувствует приближение смерти и посылает сказать об этом Февронии. Она же в это время вышивала «воздух» (плат) с изображением святых. Феврония просит супруга: «Пожди, господине, яко да дошью воздух во святую церковь». Но Петр посылает к ней во второй и в третий раз сказать, что уже умирает. Тогда Феврония оставляет незавершенную работу (только «единого святого риз не дошив»), встает и, воткнув иглу в «воздух» и «преверте нитию, еюже шияше» (обернув ниткой, которой шила), велит передать мужу «о преставлении купнем»: она готова умереть вместе с ним.

Тела умерших, вопреки их воле, погребают раздельно: его — у соборной церкви, ее — в женском монастыре. Но они чудесным образом оказываются на следующее же утро в одном гробу. Их разносят снова, и на следующий день снова «обретошася святии в едином гробе».

Петр и Феврония почитались в Муроме как святые еще в XV в., в 1547 г. они были канонизированы, и повесть о них воспринималась как житие (ее наиболее распространенное наименование — «Повесть от жития святых новых чудотворцев муромских Петра и Февронии»). Однако, как можно судить из пересказа сюжета, она совершенно не похожа на другие памятники агиографического жанра — ее отнесение к житиям является чисто формальным, и не случайно, видимо, «Повесть» не была включена в состав «Великих миней-четьих» митрополита Макария.

В сюжете «Повести», несомненно, отразились фольклорные черты: мотивы сказки о герое-змееборце и сказки о мудрой деве. Мудрость Февронии проявляется не только в том, что она исцеляет Петра и вынуждает князя жениться на ней. Как и у мудрой девы народной сказки, загадочны и непонятны окружающим ее речи. Когда отрок князя Петра заходит в избу к Февронии, она обращается к нему со словами: «Не лепо бысть дому без ушию и храму без очию!» Юноша не понимает ее речей и спрашивает: «Где есть человек мужеска полу, иже зде живет?», на что девушка отвечает не менее странно: «Отец мой и мати моя поидоша взаим плакати, брат же мой иде чрез ноги в нави [на мертвеца, на покойника] зрети». И отрок вынужден просить ее объяснить «глаголы странны». Тогда Феврония разъясняет, что уши дома — это пес, который залаял бы на чужого, а очи — ребенок, который бы его увидел; родители ее ушли к соседям оплакивать мертвого (взаймы, ибо когда они умрут, то и соседи их оплачут), а брат бортничает и, залезая на дерево, «чрез ноги» смотрит на землю, «абы не урватися с высоты» и не погибнуть.

На требование Петра соткать ему из пучка льна пряжу и сшить из нее рубашку, штаны и полотенце за то время, пока он будет мыться в бане, Феврония отвечает подобным же требованием: из обрубка полена князь должен столь же быстро изготовить для нее ткацкий стан.

Но эти традиционные сказочные мотивы сочетаются в «Повести» с тонкими художественными наблюдениями. Высоким психологизмом отличается заключительная сцена «Повести». Феврония, отвечая на третий призыв умирающего Петра, оставляет работу над «воздухом» — она втыкает иглу в ткань и обертывает вокруг нее оставшуюся нить. Этот жест ретроспективно дополняет облик Февронии — беспокойную (не аффектированную!) решимость в выполнении своего последнего долга, она готова, как обещала, принять смерть «купно» с любимым мужем; и в то же время этот жест — жест аккуратной искусницы-мастерицы (какой нередко в народных сказках выступала мудрая дева).

Д. С. Лихачев, напомнив, как редки бытовые детали в древнерусских памятниках, подчеркивает, что «в этих условиях жест Февронии драгоценен, как то золотое шитье, которое она шила для святой чаши»[159][5].

ЛИТЕРАТУРА XVII В.

XVII веку суждено было продолжить и развить тенденции, наметившиеся в литературе эпохи русского Предвозрождения. Именно этот век, по словам Д. С. Лихачева, «принял на себя функцию эпохи Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был «особым», неузнанным в своем значении»[160][1].

Это был век, когда «прочно укоренившиеся за шесть веков литературные жанры легко уживались с новыми формами литературы: с силлабическим стихотворством, с переводными приключенческими романами, с театральными пьесами, впервые появившимися на Руси при Алексее Михайловиче, с первыми записями фольклорных произведений, с пародиями и сатирами»[161][2].

Характерной чертой литературы XVII в. явилось ее разделение на литературу официальную, «высокую» и демократическую.

Официальная литература первых десятилетий XVII в. сохраняет внешне непосредственную связь с литературными традициями прошлого века. Но важнейшим фактором, определившим новое в ее развитии, явилась сама историческая действительность. Русь переживала едва ли не самый сложный период своей истории, получивший в историографии выразительное наименование Смутного времени. Авторы исторических повествований, в немалом количестве появившихся в это время, пребывают в смятении, видя «беды», пришедшие «на все преславное Российское царство». Но смятение не приводит к душевной расслабленности, не уводит их от волнующих политических и военных проблем; напротив, литературные произведения этого времени необычайно темпераментны, публицистичны, их авторы настойчиво ищут причины постигших страну бедствий. Их уже не удовлетворяет традиционное объяснение средневековой историографии, что бог «наказывает» страну «за грехи наши», они ищут виновников бедствий, пристально всматриваясь в своих современников.

Именно в произведениях, повествующих о событиях Смуты, происходит открытие человеческого характера во всей его сложности, противоречивости и изменчивости. В старой историографии, например в хрониках, разумеется, отмечались перемены в образе мыслей и в поступках того или иного исторического лица. Но такие изменения лишь фиксировались, хронист радовался исправлению грешного, негодовал развращению праведного, но не пытался объяснить эту эволюцию индивидуальными чертами характера данного лица. Писатели XVII в. уже хорошо понимают связь поступка с характером, сложность и изменчивость самих характеров.

159[5] Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970, с. 95.

160[1] Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973, с. 139.

161[2] Там же, с. 138.

Вот, например, Борис Годунов: вначале он «в свое царство в Руском государьстве градов и манастырей и прочих достохвальных вещей много устроив, ко мздоиманию [стяжательству, взяточничеству] же зело бысть ненавистен», был «естеством светлодушен и нравом милостив», однако со временем характер его изменился: «терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи», и если бы не эта перемена, то «могл бы убо всяко древьним уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим». Столь же сложные характеристики получают в исторических произведениях начала века и Иван Грозный, и патриарх Гермоген, и другие деятели этого периода.

Такой подход к изображению человеческой личности мы находим в новой редакции «Хронографа», в статьях, посвященных событиям начала XVII в., во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева и в других памятниках — это стало общим достоянием, литературным открытием времени, свидетельством начала нового этапа литературного развития.

В исторических сочинениях начала XVII в. авторы пытались осмыслить происходящее, оставить о нем память потомкам, а в ряде случаев оправдать и объяснить свои собственные политические пристрастия или поступки.

В литературе XVII в. восстанавливается репертуар беллетристических памятников XV в.: появляются многочисленные списки «Сербской Александрии», «Повести о Дракуле», «Повести о Басарге», переводного сборника басен «Стефанит и Ихнилат», «Сказания об Индийском царстве» и т. д.

Это нельзя объяснить только лучшей сохранностью более поздних рукописей XVII в.; несомненно, сказывается снятие «цензурного запрета» на беллетристические «неполезные» повести. Кроме того, эти памятники находят свою литературную среду среди новой волны переводов XVII в., таких, как переводы рыцарских романов («Повесть о Бове», «Повесть о Брунцвике», «Повесть об Аполлонии Тирском» и им подобных), сборников занимательных новелл («Фацеции») или не менее занимательных псевдоисторических преданий (сборник «Римских деяний»).

Создаются новые редакции «Повести об Акире», «Повести о Трое», «Девгениева деяния».

Произведения XVII в., даже те, которые могут быть отнесены к его официальной литературе, свидетельствуют об эмансипации жанров и героев, которую мы отмечали в «Повести о Басарге» или в «Повести о Петре и Февронии», — последнюю лишь формально можно отнести к жанру житий.

Столь же не похожа на традиционный жанр сказания о поставлении монастыря и «Повесть о Тверском Отроче монастыре».

«Повесть о Тверском Отроче монастыре». В повести рассказывается, как некий отрок (здесь в значении — слуга, младший дружинник) тверского князя Ярослава Ярославича Григорий полюбил красавицу Ксению, дочь деревенского пономаря. Юноша просит у ее отца дать согласие на их брак, но тот явно смущен: брак его дочери с Григорием кажется ему слишком неравным. Однако Ксения советует отцу принять предложение Григория. Идут последние приготовления к свадьбе; венчание должно состояться в церкви того села, где живет невеста.

Тем временем князь, такой же молодой и красивый, как и его любимец-слуга, отправляется на охоту. Случайно он, следуя за улетевшим от него любимым соколом, попадает в то село, где готовится свадьба Григория и Ксении. Князь входит в дом невесты, где она сидит со своим женихом и гостями, и вдруг Ксения объявляет собравшимся: «Востаните вси и изыдите во стретение своего великаго князя, а моего жениха». Затем она обращается и к изумленному, как и все, Григорию со словами: «Изыди ты от мене и даждь место князю своему, он бо тебе болши и жених мой, а ты был сват мой». Князь, увидев красоту Ксении («аки бы лучам от лица ея сияющим», — скажет автор), «возгореся... сердцем и смятеся мыслию»; в тот же день он обвенчался с Ксенией в сельской церкви. Огорченный отрок покидает своего господина. После трехлетних скитаний Григорий с

помощью князя основывает под Тверью мужской монастырь, где и постригается под именем Гурия.

Как и Феврония, Ксения сама устраивает свою судьбу: именно она отказывает Григорию и объявляет князя своим женихом. Но прав и Д. С. Лихачев, утверждая, что «Ксения, собственно, пассивная героиня. Эта красавица не любит никого, ее любовь — и суженая и этикетная»[162][3]. В этой противоречивости образа Ксении наглядно отражаются сложные переплетения старого и нового в литературе XVII в.

Действительно, с одной стороны, перед нами, бесспорно, новые черты: эмансипируется жанр — в повести сочетается тема земной любви и тема создания монастыря, эмансипируется образ литературного героя: женой князя становится мудрая дева Ксения, наконец, движущей силой сюжета является любовный треугольник. Но с другой стороны, религиозной экзальтацией веет от Ксении. Она действует не из корыстных или чувственных побуждений, а подчиняется «божьему повелению»; князь накануне своей неожиданной свадьбы видит вещий сон, попадает в село он не совсем случайно: его привело чудо, охотничий сокол, который так и не дался князю в руки. Сокол уселся на церкви, несмотря на призывы княжеских слуг «никакоже думаше слетети к нима, но крилома своима поправливаяся и чистяшеся». Когда князь после венчания выходит с Ксенией из церкви, сокол, «видя господина своего идуща с супругою своею, сидя на церкви начат трепетатися, как бы веселяся и позирая на князя», затем на зов князя он слетел вниз и «сяде на десней его руце и позирая на обоих, на князя и на княгиню». Это чудо несомненно связано с божьей волей, на которую ссылается Ксения; напомним, что сокол — символ жениха, и недаром князь видел в вещем сне, как сокол, «все стадо птиц разогнав, поймал голубицу красотою зело сияющу, паче злата, и принесе» ее князю.

То же столкновение старого и нового мы увидим и в другой повести XVII в. — «Повести о Савве Грудцыне».

«Повесть о Савве Грудцыне». «В лето от сотворения миру 7 114 [1606] бысть во граде Велицем Устюзе некто купец, муж славен и богат зело, именем и прослытием Фома Грудцын -Усовых». В годы Смуты Фома переезжает с семьей в Казань, продолжая свои торговые дела и посылая «струги с товаром» до самой Персии. Как-то он отправил с товарами в городок Орел (на Каме) своего сына Савву. В Орле жил старый друг Фомы — престарелый Важен Второй. Узнав о приезде в свой город Саввы, он уговаривает его поселиться в своем доме. Важен был женат третьим браком на молодой женщине. И вот «ненавидяй же добра роду человечю супостат диавол» возбуждает в жене Бажена и Савве взаимную страсть, причем они предаются любви (а это для благочестивого автора и читателя деталь немаловажная) даже в дни церковных праздников. Как-то Савва «убояся суда божия» (ибо это был день праздника Вознесения) и отказался принять ласки женщины. Оскорбившись, жена Бажена опаивает Савву любовным зельем и одновременно демонстрирует ему свою неприязнь («нимало приветство являше к нему»), а затем, оклеветав юношу перед мужем, добивается изгнания его из дома. Савва страдает от разлуки с приворожившей его женщиной, так что от «великия туги» начинает «красота лица его увядати и плоть его истончяватися» (он похудел, осунулся).

Как-то Савва в унынии и скорби отправился «за град» и подумал, что если бы дьявол или человек помогли бы ему вернуть расположение женщины, то он бы «послужил дьяволу». И тут же Савву окликает по имени неизвестный хорошо одетый юноша. Автор спешит предупредить, что это «супостат дьявол», но Савва ничего не подозревает и верит встреченному, что тот его родственник и земляк, а в Орле находится «ради конския покупки». Бес уговаривает Савву дать ему некое «рукописание мало», обещая за это, что вернет ему любовь жены Бажена. Обрадованный (и все еще ничего не подозревающий) Савва соглашается, бес достает из кармана чернила и «хартию» и диктует юноше (который еще «несовершенно умеяше писати») «богоотметное писание».

162[3] 'Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 298.

Савва со своим «названным братом» — бесом возвращается в город. Юношу радостно, как будто ничего не случилось, встречает и приглашает к себе в дом Бажен, ему снова благоволит жена Бажена. Савва вновь поселяется у них и предается, как и прежде, пьянству и разврату.

Автор постоянно как бы поддразнивает читателя, изображая ситуации, в которых Савва должен был бы догадаться, кто есть в действительности его «названный брат». Бес признается Савве, что он сын царя, и ведет Савву в свое царство. «Оле безумие отрока! — восклицает автор. — Ведый бо [знал же], яко никоторое царство прилежит Московскому государству, но все обладаема бе царем Московским». Но Савва не догадывается. Он не понимает, что попал в царство сатаны и тогда, когда с удивлением видит у престола «князя тьмы» «множество юнош крылатых стоящих» с синими, красными и черными лицами. Он, правда, спрашивает о них беса, но простодушно удовлетворяется его объяснением, что царю, отцу его, «мнози языци служат... индеи и перси и инии мнози». Не смущают Савву слова нищего, предупреждающего его, что он ходит с бесом, ни сказочные передвижения их из города в город, когда они покидают по настоянию беса Орел: туда должен приехать отец Саввы, узнавший о его непотребной жизни.

Савву ждут еще многие приключения. Он становится солдатом, с помощью беса совершает подвиги (в исторически достоверной войне за Смоленск в 1632 г.): где шли «Савва з братом своим... тамо поляки от них невозвратно бежаху, тыл показующе, бесчисленно бо много поляков побивающе, сами же ни от кого вредими бяху».

Но расплата за служение дьяволу неизбежна. Живя в Москве, в доме некоего сотника, Савва тяжело заболевает. Жена сотника убеждает Савву исповедаться. Но едва священник и Савва остаются наедине, как в комнате появляется толпа бесов, и среди них «мнимый его брат», теперь уже в своем истинном — «зверовидном» облике. Он «ярится» на Савву и, скрежеща зубами, показывает ему «богоотметное писание». После исповеди Савве становится еще хуже: бес мучает его, «ово о стену бия, ово о помост одра его пометая, ово храплением и пеною давляше...»

Сотник сообщает о болезни Саввы самому царю, и тот приказывает стоять у постели его своим караульщикам, чтобы больной, «от онаго бесовскаго мучения обезумев», не покончил с собой. Но во сне Савве является богородица и обещает спасти его, если Савва согласится постричься в монахи. По просьбе больного его приносят к стене собора Казанской богоматери. С неба раздается глас, «яко бы гром велий возгреме: «Савво востани! Что бо медлиши?» Из-под церковного свода падает «заглаженное» (без текста) «богоотметное писание». Савва, вскочив, словно «никогда же болев», бежит в церковь и молится перед иконой богородицы.

Раздав все свое имущество нищим, он постригается в Чудовом монастыре, где прожил еще «лета довольна» «в посте и молитвах».

Основа сюжета (его фабула) традиционная. В качестве аналогии приводят фрагмент из греческого «Жития Василия Великого». Там повествуется, как, полюбив дочь господина, отрок-слуга продает свою душу дьяволу, за что бесы разжигают в девушке ответную страсть. Молодые люди женятся. Но жена замечает, что супруг ее не ходит в церковь, не причащается, и, расспросив его, узнает о «сделке» с дьяволом. Женщина обращается за заступничеством к святому Василию, и тот, не без борьбы, вырывает отступника из рук бесов: данное им «рукописание» возвращается ему же в руки.

В «Повести о Савве Грудцыне» — модификация этого, сюжета. При этом сюжет оказался дополненным множеством лишних для первоначальной сюжетной концепции, но чрезвычайно интересных для читателя моментов; в этой сюжетной занимательности, в обилии подробностей, иногда совершенно бытовых, а иногда нарочито фантастических, обнаруживаются черты новых литературных вкусов.

Но в повести еще ощущаются черты старины: у героев нет характеров, их речь (за исключением речи беса) лишена индивидуальности, язык повести изобилует традиционными книжными оборотами, как например: «Савва же, егда услыша от Бажена таковыя глаголы,

неизреченною радостию возрадовался и скоро потече в дом Бажена Второго» или: «узрев Савва некоею престарела нища мужа стояща, рубищами гнусными зело одеянна и зряща на Савву прилежно и велми плачюща. Савва же отлучися мало от беса и притече ко старцу оному, хотя уведати вины плача его» и т. д.

При этом не следует думать, что таков был стиль всех памятников официальной литературы: вспомним изящное описание сокола, чистящего свои перья; это лишь свидетельство сосуществования разных традиций и тенденций, разных стилевых манер в литературе XVII в.

Но наиболее явно новые литературные веяния проявились в демократической литературе, создававшейся и читавшейся в городском посаде и в деревне, в среде мелких купцов, ремесленников, низшего духовенства и приказных, в крестьянской среде. Каковы же основные художественные завоевания этой демократической литературы?

Прежде всего — решительный отказ от историзма, самого основного и определяющего принципа древнерусской литературы. В демократической литературе появляется новый герой. Это не историческое лицо, а «бытовая личность», человек, никому не известный, судьба которого интересна лишь в чисто бытовом плане. Демократическая литература решительно освободилась от религиозной опеки: религиозные сюжетные мотивы, даже в том урезанном и деформированном виде, в каком они встречаются в «Повести о Савве Грудцыне» или в «Повести о Тверском Отроче монастыре», в ней совершенно отсутствуют, а в произведениях демократической сатиры, таких, например, как «Калязинская челобитная» или «Повесть о бражнике», религиозное ханжество, церковный или монастырский быт даже оказываются объектом беспощадного осмеяния.

Демократическая литература отстояла право на вымысел. Важным шагом на этом пути оказывается безымянность некоторых ее героев. На первый взгляд, это как будто возврат к принципу абстрагированности. Но только на первый взгляд. Так, в «Повести о купце Карпе Сутулове» рассказывается о том, что жена Карпа Татьяна, поиздержавшаяся за время трехлетнего отсутствия мужа, обращается с просьбой к купцу Афанасию Бердову ссудить ее деньгами. Тот не отказывается ей помочь, однако просит за это любовное свидание. Татьяна решает посоветоваться со своим духовным отцом. Тот предлагает ей большую сумму, однако на тех же условиях. Еще большую сумму сулит Татьяне архиепископ, обещая даже отпустить ей грехи измены супругу. Тогда хитрая женщина назначает свидание всем трем поклонникам в один день, друг за другом. Пугая их мнимым возвращением мужа (это стучит очередной поклонник), она сажает поклонников в сундуки и передает эти сундуки воеводе. Воевода берет с незадачливых любовников большой выкуп, который делит с Татьяной, он славит мудрость и целомудрие женщины.

Это типично новеллистический сюжет и достаточно искусственный (троекратно повторенная сходная ситуация, все возрастающие суммы даров, которые обещает Татьяне каждый из поклонников, и т. д.), но у основных героев повести есть имена, так что достаточно простодушный читатель мог все же допускать, что эта история имела место в действительности.

В «Повести о Шемякином суде» действуют уже два *безымянных* брата — бедный и богатый, в «Повести о Горе-Злочастии» — также безымянный «молодец», а в сатирической «Повести о Ерше Ершовиче» персонажи — рыбы: судные мужики Судок да Щука-трепетуха, воевода Сом и другие.

Во всех этих случаях нет и намека на историзм, вымышленность сюжета открыто признается.

Право на вымышленное имя облегчает и создание вымышленного сюжета. Такой сюжет в демократической литературе является к тому же, как правило, бытовым сюжетом: «бытовая личность» интересна своей собственной бытовой судьбой, занимательностью тех бытовых ситуаций, в которых она оказывается.

«Повесть о Шемякином суде». Интересной иллюстрацией этой мысли может послужить «Повесть о Шемякином суде».

В «некоих местах» жили два брата — богатый и бедный. Богатый постоянно ссужал бедняка, но тот по-прежнему жил скудно. Как-то бедняк попросил лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута, попрекнув брата: «И того у тебя нет, что своего хомута». Бедный привязал дровни к хвосту лошади. Въезжая во двор, он не открыл подворотню, лошадь зацепилась дровнями и оторвала себе хвост. Богатый, увидев искалеченную лошадь, отправился в город жаловаться на брата судье Шемяке.

«Убогий» отправился вместе с братом. По дороге они заночевали в доме попа. Бедный с завистью смотрел с полатей, как брат его ужинает с попом, загляделся и упал с полатей на зыбку (колыбель), в которой спал поповский сын, и задавил ребенка насмерть. Теперь к судье отправились уже двое истцов — богатый брат и поп. В городе им пришлось идти через мост. Бедняк в отчаянии решил расстаться с жизнью, бросился с моста в ров, но опять же случайно упал на старика, которого некий горожанин вез мыть в баню, и «удави» его. К судье явились теперь уже три истца. Бедняк, не ведая, «как ему напастей избыта и судии чтоб дата», взял камень и, завернув его в «плат», положил в шапку. При разборе каждого из дел он исподтишка показывал судье «узелок» с камнем.

Шемяка, рассчитывая, что ответчик сулит ему «узел злата», во всех трех случаях решил дело в его пользу. Но когда его посыльный спросил у бедняка: «Дай-де то, что ты из шапки судне казал в узлах», тот отвечает, что в узле у него был завернут камень, которым он хотел судью «ушибити». Узнав об этом, судья, однако, не серчает, а радуется: «ак бы я не по нем судил, и он бы меня ушиб».

Бедняк из рассмотренной повести — своеобразный тип героя плутовской новеллы. Строго говоря, он вовсе не плут, а типичный неудачник: бедняк едва не покончил с собой накануне суда и камень-то показывал судье, вовсе не желая его обмануть и перехитрить, а лишь рассчитывая напугать. Неверно рассматривать «Повесть о Шемякином суде» как сатиру на судопроизводство: хотя мотив насмешки над судьей, оправдывающим виновного в расчете на взятку, в повести присутствует, в основе сюжета — забавный рассказ о злоключениях героя, и именно неправедность суда приводит конфликт к благополучному разрешению.

«Повесть о Фроле Скобееве». Плутовская новелла XVII в. достигает своего совершенства в «Повести о Фроле Скобееве». В отличие от бедняка-неудачника «Повести о Шемякином суде», Фрол, мелкий чиновник (он площадной подьячий или ябедник, промышляющий перепиской и составлением юридических бумаг и ведением дел своих клиентов), сам настойчиво, любыми средствами устраивает свою судьбу. Он хитростью женится на дочери знатного стольника Нардина-Нащокина Аннушке и становится наследником движимого и недвижимого имущества своего тестя.

Авантюрная повесть о Фроле Скобееве интересна нам не столько похождениями героя: она знаменует собой решительный отказ от всех тех условностей в изображении характеров, поведения и передачи речи персонажей, которые так отягощали, например, занимательный сюжет «Повести о Савве Грудцыне». Здесь герои говорят не высокопарными книжными фразами и не изящными, но безликими репликами сказочных героев, а языком, свойственным людям определенного социального положения и определенных характеров. Приведем небольшой фрагмент из этой повести. Фрол приезжает со своей женой Аннушкой в дом тестя. После гневных попреков дочери и зятю Нардин-Нащокин садится с ними обедать, наказывая слугам отвечать всем посетителям: «Временя такого нет, чтобы видеть столника нашего, для того зь зятем своим, с вором и плутом Фролкою, кушает». Уже в этой фразе расставлены необходимые психологические акценты.

После обеда между стольником и Фролом происходит такой разговор: «Ну, плут, чем станешь жить?» — «Изволишь ты ведать обо мне, — более нечим, что ходить за приказным делам». — «Перестань, плут, ходить за ябедою! Имения имеется, вотчина моя, в Синбирском уезде, которая по переписи состоит в 300-х дворех. Справь, плут, за собою и живи постоянно». И Фрол Скобеев отдал поклон и з женою своею Аннушкою и пренося пред ним

благодарение. «Ну, плут, не кланейся; поди сам справляй за себя», — нетерпеливо заканчивает беседу стольник.

Живость и естественность диалога и всей сцены несомненны. Но в повести есть и еще одна примечательная для литературного развития XVII в. деталь: она совершенно лишена дидактизма. Читатель сам должен решить, с кем останутся его симпатии: с плутом ли Фролом или с уязвленным в своей гордости, обманутым собственной дочерью стольником.

«Повесть о Фроле Скобееве», написанная, видимо, в самом начале XVIII в., явилась своеобразным итогом развития демократической новеллы.

Силлабическая поэзия XVII в. Симеон Полоцкий. XVII век стал первым веком русской книжной поэзии. Обращение к новой области словесного искусства было чрезвычайно интенсивным, интенсивным настолько, что к концу столетия обилие поэтов и обилие стихотворной продукции приводит даже к некоторой девальвации стихотворства. Создалось представление, что в «мерные строки» можно облечь любую тему, любой предмет... В сознании русских стихотворцев второй половины XVII в. не было противоположения поэзии и стихотворства»[163][4]. В начале следующего века Феофан Прокопович специально подчеркнет, что функция поэзии «*искусством* изображать человеческие действия и *художественно* (курсив наш. — *О. Т.*) изъяснять их для назидания в жизни»[164][5].

Широкое распространение еще в XVI-XVII вв. получили духовные стихи, в которых разрабатывались по преимуществу темы человеческой греховности, необходимости покаяния, печали от нашествия поганых и т. д. Но духовные стихи были тесно связаны с музыкой: они распевались на «гласы» богослужебных певческих книг, и тексты их обычно встречаются именно в этих рукописях.

Книжная поэзия в собственном смысле этого слова, то есть независимый от мелодии декламационный стих, появляется только в XVII в. Исследователь древнерусской поэзии А. М. Панченко полагает, что рождение стихотворства было обусловлено двумя важнейшими факторами. Во-первых, в развитии стихотворства сыграло роль усилившееся в это время украинское и польское культурное влияние: и на Украине, и в Польше вирши имели широкое распространение уже в XVI в., «польские руководства «хорошего тона» считали искусство сочинять стихи одной из шляхетских добродетелей». Второй фактор — «это внутренняя московская потребность, объясняемая тем, что в это время фольклор стал уходить из города и поэтическое чувство горожан искало удовлетворения в книге — как в высокой силлабической поэзии, так и в попадавшей по необходимости в письменность народной — в эпосе, сатире, лирической песне, духовном стихе»[165][6].

Исчезновение фольклора из города в XVII в. было вызвано жестоким преследованием скоморохов: специальные указы предписывают «бить кнутом по торгам» тех, кто упорствует и не оставляет своего ремесла, запрещают держать дома музыкальные инструменты и т. д. Лишенное устной поэзии русское общество обратилось к книжной поэзии. Подлинный расцвет русской силлабической поэзии наступает в середине 60-х гг. Он связан и обусловлен деятельностью крупнейшего поэта XVII в. Симеона Полоцкого и его учеников: Сильвестра Медведева и Кариона Истомина.

Самуил Емельянович Синтианович-Петровский родился в 1629 г. в Полоцке. Двадцати семи лет он постригся в монахи (*Симеон* — его монашеское имя). Окончив Киево-Могилянскую духовную академию, Симеон стал учительствовать в родном Полоцке. В Москву Симеон переезжает в 1664 г. и вскоре добивается прочного положения при дворе. Учитель царских детей (Алексея и Федора Алексеевичей), придворный поэт, панегириками и «приветствами» отмечавший каждое мало-мальски значительное событие придворной жизни, организатор «верхней» (находившейся в Кремле) типографии, преподаватель

163[4] Панченко А. М. Книжная поэзия древней Руси. — В кн.: История русской поэзии. Л., 1968, т. 1, с. 48-49.

164[5] Прокопович Феофан. Соч. / Под ред. И.П.Еремина. М.-Л., 1961, с. 346.

165[6] Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973, с.25.

латинского языка в монастырской школе, переводчик с латыни во время богословских диспутов со старообрядцами, проповедник, — словом, человек, подвизавшийся на самых разнообразных поприщах, Симеон в душе оставался прежде всего поэтом-профессионалом. Весь свой досуг он отдавал любимому занятию — стихотворству, работая регулярно и весьма продуктивно. Его друг и ученик Сильвестр Медведев вспоминал, что Симеон «на всякий день име залог [зарок, обычай] писати в полдесть по полу тетради, а писание его бе зело мелко и уписисто».

Литературное наследие Симеона огромно. Помимо полемического богословского трактата «Жезл правления», многочисленных проповедей, объединенных в два изданных им сборника: «Обед душевный» и «Вечеря душевная», двух пьес — «Комедии о блуднем сыне» и «Трагедии о Навходоносоре», поэтического переложения псалтыри («Псалтири рифмотворной»), Симеон написал также огромное количество стихотворений, объединенных им впоследствии в два фундаментальных сборника — «Рифмологион», куда вошли по преимуществу панегирические стихотворения и «приветства», и «Вертоград многоцветный»[166][7].

Этот последний сборник особенно интересен. Он содержит 1246 стихотворений (около 30 000 стихотворных строк). Сборник разбит на тематические рубрики, расположенные в алфавитном порядке; в каждой рубрике содержится по нескольку стихотворений, от кратких двустиший до весьма пространных повестей в стихах. Сходство с энциклопедией не кончается алфавитным расположением тематических разделов сборника. Симеон действительно стремился создать своего рода поэтическую энциклопедию: в «Вертограде» излагаются многочисленные исторические легенды и анекдоты, нравоучительные истории из жизни знаменитых людей древности и безвестных обывателей; здесь мы найдем стихи на темы естественной истории, описание драгоценных камней, животных, птиц, различных предметов. Известный исследователь древнерусской литературы И. П. Еремин сравнивал сборники «Вертоград» и «Рифмологион» с музеем, «в витринах которого расставлены в определенном порядке («художественне и по благочинию») самые разнообразные вещи»[167][8]. Однако вещи эти чаще всего интересуют Симеона не только сами по себе; он видит в них материал для уподобления, стремится раскрыть их аллегорический смысл. Множество стихотворений Симеона посвящено изображению человеческих характеров и страстей; он наставляет в добродетелях и обличает пороки. Эта дидактическая задача сформулирована в предисловии к «Вертограду»: «благородный и богатый» найдет в нем «врачевства [исцеление] недугом своим: гордости — смирение, сребролюбию — благорасточение, скупости — подаяние, а «худородный и нищий» — исцеление своим недугам: «роптанию — терпение, татбе [воровству, разбою] — трудолюбие, зависти — тленных презрение [равнодушие к мирскому богатству]».

Иногда «уподобления» Симеона кажутся слишком прямолинейными. Так, в стихотворении «Суд прежде сна» Симеон, упомянув, что уставший пес, прежде чем лечь, имеет обычай «сам ся обращати» (вертеться на месте) и, «егда осмотрится окрест на месте, тогда положится», советует и людям перед сном оглянуться на прожитый день и припомнить, не случилось ли им согрешить в чем-либо. И если «как злоба усмотрится», человек должен уподобиться овце: она, когда хочет лечь, «нрав на колена имать припадати». Вот так и люди должны, преклонив колени, молиться о прощении своих грехов.

Мы видим, как несколько нарочитый дидактизм сочетается в стихотворении с живыми бытовыми черточками. Таких примеров у Симеона мы встретим немало: он как бы предвосхищает живость сатир и басен XVIII столетия. Таков, например, рассказ о пьянице, у которого двоилось в глазах, и он стал попрекать жену неверностью, ибо вместо двух сыновей ему привиделось четыре. Муж потребовал, чтобы она в доказательство своей невиновности взяла в руки раскаленное железо. Но женщина попросила, чтобы супруг сам подал его ей.

166[7] По-древнерусски вертоград — сад.

167[8] Еремин И. П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.-Л., 1966, с. 211.

Обжегшись, муж протрезвел и убедили? в своей ошибке: «И се два сына точию видяше, невинность жены, свою вину знаше».

И все же некоторым стихотворениям Симеона, особенно на сюжеты исторических легенд, недостает поэтической образности. Обличение порока достигается не путем поэтически-тенденциозного изображения события, тех самых «сильных деталей», о которых мы говорили при анализе летописных повестей о княжеских преступлениях, а лишь путем назидательного вывода, который поэт делает в конце стихотворения.

Силлабическая поэзия XVII в. еще только находила себя как искусство. Стихами можно было пересказать историческое предание, преподать моральное наставление, описать редкий минерал или песочные часы; стихами можно было написать торжественное «приветство» и учебник.

Эмоциональная сила поэзии, ее специфические свойства как искусства слова еще не были полностью открыты ни самим Симеоном, ни тем более его учениками и последователями. Их поэзии недоставало искренности, воодушевления, свежести чувства. В этой связи заметим, что силлабическая поэзия XVII в. не знала лирики, воспевающей любовь-страсть. Симеон Полоцкий относился с осуждением даже к супружеской любви, видя в ней уступку плоти. Любовные стихотворения, в нашем понимании этого слова, появляются в XVII в. исключительно редко, и отнюдь не у поэтов-профессионалов круга Симеона Полоцкого.

Несмотря на все сказанное, роль Симеона в истории русской культуры и истории русской поэзии была исключительно велика. Он совершил переворот в версификации, он создал систему поэтических жанров, возглавил школу поэтов-силлабиков. Высоко ценя образованность, Симеон пытался основать в Москве первый русский университет. Этому плану не суждено было сбыться, но Симеон оставил свои стихи; читатель его «Вертограда» невольно становился студентом этого несозданного университета — он становился широко образованным, в том (пусть схоластичном) понимании этого слова, которое вкладывал в него великий поборник просвещения — поэт Симеон Полоцкий.

«Житие» протопопа Аввакума. «Житие» протопопа Аввакума — шедевр древнерусской литературы, явление исключительное даже на фоне разнообразной и богатой художественными открытиями литературы XVII в.

Аввакум родился в 1621 г. в семье священника и в возрасте 23 лет сам стал сельским священником. Жизнь его складывалась трудно: прихожане не прощали своему пастырю суровых обличений, «начальники» грозили расправой, когда Аввакум заступался за обиженных или проявлял так свойственную ему религиозную нетерпимость. Дважды ему пришлось бежать в Москву, спасаясь от разгневанной паствы. Живя в Москве, Аввакум сближается с кружком «ревнителей благочестия», участники которого были обеспокоены падением авторитета церкви среди населения, а в догматических вопросах настойчиво требовали сохранения древних «отеческих» традиций.

В 1650-х гг. патриарх Никон начинает проводить свою реформу церковных обрядов и требовать исправления богослужебных книг по греческим оригиналам. Реформы Никона вызвали резкое противодействие среди защитников старых обрядов, влиятельнейшим вождем которых становится протопоп Аввакум. В 1653 г. по требованию Никона Аввакума ссылают в Сибирь, где он пробыл до 1662 г., когда царь Алексей Михайлович приказывает вернуть опального протопопа. Аввакум с почетом был принят в Москве и обласкан, но, увидев, что и без Никона[168][9] «зима еретическая на дворе», снова «заворчал», требуя восстановить «старое благочестие». В ответ на это последовали новые гонения — ссылка в Мезень, расстрижение, заточение в монастырских темницах. В 1667 г. Аввакума и его сподвижников — Епифания, Федора и Лазаря — ссылают на север, в Пустозерск, где они томятся в земляной тюрьме. В 1682 г. они были сожжены в срубе.

В Пустозерске, в заключении, Аввакум между 1669 и 1675гг. пишет свое «Житие». Написать «Житие» Аввакума «понудил» его духовный отец и соузник по пустозерской

168[9] Никон в 1658 г. сложил с себя патриарший сан, а в 1666 г. был официально низложен и сослан.

ссылке — инок Епифаний. В композиции аввакумовского «Жития» есть черты традиционного жития: вступление, обосновывающее повод создания жития, рассказ о юных годах Аввакума и о чудесах, которые должны свидетельствовать о божественном признании подвижника.

Но Аввакум пишет собственное «Житие», и это не только влияет на его сюжет, но и вынуждает Аввакума оправдывать возможность такого жития-автобиографии. Именно в этом отношении так важны оказываются сцены, в которых автор убеждается сам и убеждает читателя в своем праве на высокую миссию мученика и защитника истинной веры.

Не случайно поэтому в начале «Жития» Аввакум рассказывает о чудесном сне-видении: по Волге плывут «стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы...» Эти корабли, вещают Авва куму, Луки и Лаврентия, его детей духовных, а за ними плывет третий корабль, «не златом украшен, но разными пестротами — красно, и бело, и сине, и черно...», на том корабле «юноша светел», который на вопрошание Аввакума о принадлежности корабля отвечает: «Твой корабль! Да плавай на нем з женой и детми, коли докучаеш!» Так знамением было предначертано многотрудное плавание Аввакума по волнам житейского моря.

«Житие» Аввакума напоминает монолог: автор как бы непринужденно и доверительно беседует с читателем-единомышленником. Искренность и страстность, с которой ведет Аввакум своё повествование, рассказывая то о перенесенных тяготах, то о своих победах, то о ниспосланных ему видениях и дарованных чудесах, — не просто искусный художественный прием, это принципиальная позиция Аввакума. Он то взволнованно, то эпически спокойно, то с иронией делится воспоминаниями со своими единомышленниками, ибо трагическое в его судьбе важно как пример мужества и стойкости, а победы Аввакума в этой борьбе или ниспосылаемые ему знаки божественной благодати воспринимаются как убедительные свидетельства его правоты и истинности той идеи, за которую Аввакум боролся большую часть своей жизни.

Мы можем так или иначе оценивать Аввакума и возглавляемое им движение с позиций истории, истории церкви, истории общественной мысли, истории морали, но в любом случае Аввакум вызывает невольное уважение своей убежденностью, искренностью поступков и мыслей, необычайным мужеством; он не терпел компромиссов и самым страшным судом корил себя за редкие проявления человеческой слабости.

При всем этом Аввакум был человеком безусловно богато одаренным. Он не просто человек большого литературного таланта, но он прежде всего умел видеть и чувствовать и смело выразить это увиденное и прочувствованное в словах и образах еще невиданной до него литературной манеры, решительно отказаться от традиционного литературного «красноглаголания», предпочтя ему просторечие, «вякание», как он сам его называет. Он прямо обращается к царю Алексею: «Ты ведь, Михайлович, русак», и просит не презреть его просторечия: «понеже люблю свой русский природной язык».

Исследователи много спорили о композиции «Жития»: является ли оно потоком воспоминаний, не подчиненных задуманной и рассчитанной сюжетной схеме, или же, напротив, имеет вполне целенаправленное сюжетное построение? Думается, что ближе к истине вторая точка зрения.

Аввакум, конечно, создал произведение, подчиненное концепции, рассчитанное на определенное впечатление. Богатая художественная натура Аввакума не раз прорывается через эту расчерченную им самим схему произведения, он не всегда может сдержать себя и отобрать для художественного воплощения лишь те эпизоды своей жизни, изображения которых в наилучшей степени служили бы основной идее «Жития». Жизнь шире и пестрее вошла в «Житие» Аввакума, чем того требовала цель, ради которой создавалось это произведение. Но не это ли и сделало его непревзойденным шедевром русской литературы XVII в.?

Рассказом о своей жизни Аввакум хотел воодушевить своих единомышленников на борьбу за «дело божие». Именно поэтому в центре внимания в «Житии» — самые мрачные

эпизоды его жизни, именно поэтому так выделяет Аввакум разного рода знамения и чудеса, которые должны подтвердить угодность богу его подвижнической борьбы за «истинную веру».

Не случайно, подчеркивает Аввакум, затмение солнца произошло в 1654 г. — в тот год, когда Никон собрал церковный собор, утвердивший реформы, вызвавшие неприятие Аввакума и его единомышленников. Именно реформы церкви привели к расколу в русской церкви. Второе же затмение солнца было связано непосредственно с самим Аввакумом — оно произошло в тот год, когда его, «бедного горемыку», расстригли и «в темницу, проклинав, бросили». И Аввакум многозначительно продолжает: «Верный разумеет, что делается в земли нашей за нестроение церковное».

Впервые эта мысль о связи небесных «знамений» с русскими событиями и даже непосредственно с судьбой самого Аввакума прозвучит во вводной части «Жития». Она найдет развитие ив дальнейшем повествовании. Но Аввакум рассказывает об этих знамениях и чудесах необычайно просто, как об обыденных явлениях, и, быть может, эта обыденность чудес не случайна, она должна убедить читателя в искренности рассказа Аввакума; ведь он, пользующийся несомненным заступничеством бога (о чем и должны свидетельствовать все эти чудеса), тем не менее терпит страшные испытания: его избивают, ссылают, на долгие месяцы и годы заточают в тюрьму. Значит, есть какое-то неведомое людям объяснение того, почему, изредка помогая праведнику, бог тем не менее не спешит расправиться над никонианами, дает событиям развиваться своим чередом и лишь время от времени напоминает угодникам о своем благорасположении.

Так и в судьбе Аввакума: «ин началник» хотел его застрелить, «а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю, и из другия паки запалил так же», но и та, по божественной воле, «не стрелила». Когда Аввакума первый раз «посадили на чеп [на цепь]», то он три дня «ни ел, ни пил», и вдруг ночью свершилось чудо: «ста предо мною, — вспоминает Аввакум, — не вем — ангел, не вем — человек, и по се время не знаю; токмо в потемках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал и хлебца немношко и штец дал похлебать — зело прикусны, хороши!» «Двери не отворялись, — вспоминает далее Аввакум, — а ево не стало! Дивно толко человек; а что ж ангел? Ино нечему дивитца — везде ему не загорожено». Так осторожно, как бы сам сомневаясь и не веря, Аввакум подводит читателя к мысли о помощи, посланной ему от бога.

Главным делом своей жизни Аввакум почитал борьбу с реформами Никона, и поэтому большая часть «Жития» посвящена именно этому периоду гонений. Он с особой подробностью описывает свои страдания от голода, холода, побоев, долгого пребывания в сырых и темных камерах. Вопреки высокому слогу летописей и хронографов, высокопарно повествовавших о мучениях праведников, Аввакум рассказывает о самых страшных своих мучениях необычайно просто, в бытовой, разговорной манере, а зачастую и с иронической усмешкой.

Вот как пишет Аввакум о своем первом заключении в Андрониевом монастыре. Он сидел на цепи, в темной «полатке» (камере), что «ушла в землю». «Никто ко мне не приходил, — вспоминает Аввакум, — токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. В Сибири, в Братском остроге, он, что собачка, лежал на соломке еж ал «на брюхе», так как спина гнила от побоев. Подробно и словно бы бесстрастно описывает Аввакум переносимые им побои и надругательства. Тобольский воевода Афанасий Пашков, «рыкнув», как зверь, «ударил меня по щеке, таже по другой, и паки в голову и збил меня с ног и чекан [кистень] ухватя, лежачева по спине ударил трижды... и по той же спине семьдесят два удара кнутом». В другой раз закованного протопопа везли в лодке: «сверху дождь и снег, а мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине — нужно было гораздо», — вспоминает Аввакум.

В описании всех этих тягот он не боится показаться смешным и даже слабым человеком. Иногда «самые трагические сцены приобретают в рассказе Аввакума характер

скоморошьей буффонады», — пишет Д. С. Лихачев[169][10] об известном эпизоде «Жития», когда бредущие в полутьме по льду томные (усталые) люди буквально засыпают на ходу, и «протопопица» (жена Аввакума — Анастасия Марковна) «повалилась, а иной томной же человек на нее набрел, тут же и повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушъка-государыня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, батько, меня задавил?» Вот другая, подобная же трагикомическая сцена. Барку, в которой находился Аввакум, унесло течением от берега. «Вода быстрая, переворачивает барку вверх боками и дном; я на ней полъзаю, а сам кричю: «Владычице, помози! Упование, не утопи!» Иное ноги в воде, а иное выполъзу наверх. Несло с версту и болши; да люди переняли. Все размыло до крохи. ...Я, вышед из воды, смеюсь, а люди-те охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные, и кое-какие безделицы, тое много еще было в чемоданах, да в сумах; все с тех мест перегнило, — наги стали. А Пашков меня же хочет опять бить: «Ты-де над собою делаеш за посмех!»

В самые трагические моменты жизни Аввакума не оставляет жадная наблюдательность. Есть в «Житии» такой поразительный эпизод. По пути в Сибирь Пашков придрался к Аввакуму, заступившемуся за обиженных воеводой вдов, и стал «выбивать» протопопа из «дощеника»: «Для-де тебя дощеник худо идет! Еретик-де ты! Пойди-де по горам, а с казаками не ходи!» «О, горе стало!» — восклицает Аввакум, но тут же следует описание этих гор, по которым его заставляет «брести» Пашков, описание, поражающее своим пристрастным вниманием к миру. Он пишет с нескрываемым удивлением и восхищением: «Горы высокия, дебри непроходимый, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черные, а гальки серые, в тех же горах орлы, и соколы, и кречеты, и курята инъдейские, и бабы [пеликаны?], и лебеди и иные дикие, — многое множество, — птицы разные», и далее следует столь же подробный перечень обитающих в тех горах зверей.

Вспоминает Аввакум и эпизод, происшедший на пути из Сибири, когда он встретился с местными жителями, поджидавшими проезжих, чтобы напасть на них и «побить». «А я, не ведаюче, — рассказывает Аввакум, — и приехал к ним и, приехав, к берегу пристал: оне с луками и объскочили нас. Я-су, вышед, обниматца с ними, што с чернцами, а сам говорю: «Христос со мною, а с вами той же!» И оне до меня и добры стали, и жены своя к жене моей привели. Жена моя также с ними лицемеритца, как в мире лесть свершается; и бабы удобрилися. И мы то уже знаем: как бабы бывают добры, так и все о Христе бывает добро». Так непринужденно повествует Аввакум об эпизоде, который легко мог обернуться для него смертью.

Откуда эта дотошная жадность к изображению и описанию не только жития с его высокими страстями и деяниями, с радостями и муками, но и самого что ни на есть приземленного быта (вспомним описание развешанных на кустах промокших одежд Аввакума!)? Не потому ли, что Аввакум в душе своей более писатель, чем проповедник? Эта мысль покажется на первый взгляд парадоксальной, но не об этом ли говорит и сам Аввакум, сетуя, что ему не хочется «сидеть на Моисеевом седалище» (то есть толковать божественные законы, как библейский пророк). Полемику с никонианами, всю свою борьбу за старые обряды Аввакум, возможно, воспринимал как вынужденную, как долг перед своей совестью, и вспоминая, как ему, вернувшемуся из ссылки в Москву, царь Алексей Михайлович предлагал стать справщиком книг, Аввакум признается в своем «Житии»: «мне то надобно лутче и духовничества». Но «церковное ничтоже успевает» (все остается по-прежнему плохо), и Аввакум снова решается сломать свою устроившуюся было жизнь. Верность идее, своему делу, как понимал его Аввакум, оказывается сильнее; он со свойственной ему неукротимостью погружается в яростную полемику с никонианами.

В «Житии» предстает перед нами и Аввакум, исполненный книжной премудрости, владеющий всеми тонкостями эрудиции богослова и мастерством церковного полемиста. С

169[10] Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976, с. 81.

нескрываемой гордостью рассказывает он о своем прении со «вселенскими патриархами»[170][11]: «от писания с патриархами говорил много; бог отверз грешъные мое уста и посрамил их Христос!» Аввакум не приводит всего спора, а лишь несколько слов, которыми он завершил прение. Но слова эти весьма знаменательны: к приезжим патриархам Аввакум обращается от имени всей русской церкви, представляя в своем лице ту ее историю и традицию, нарушить которую «дерзнул» «Никон отступник»: «Вселенъстии учителие! Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги бывша християном[171][12]. А и у вас православие пестро стало [лишено прежней чистоты] от насилия туръскаго Магмета, — да и дивить на вас нелзя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца», ибо у нас до Никона, продолжает Аввакум, «было православие чисто и непорочно, и церковь немятежна». «И патриарьси задумалися, а наши, что волъчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих...» Спор перешел в потасовку. Иван Уваров «ухватил... да потащил» Аввакума. А тот, повалившись на пол у порога, с издевкой кричал: «Посидите вы, а я полежу... Мы уроди [глупцы] Христа ради! Вы славни, мы же безчестни! Вы сильны, мы же немощни!»

Но сильным оказался именно Аввакум: через некоторое время его снова призывают на спор (ибо не считаться с ним было трудно).

Аввакума переубедить не удалось, и его ссылают на север, в Пустозерск, где в земляной тюрьме он и проведет остаток своей жизни. Однако именно там, в Пустозерском остроге, и начинается самый активный период литературного творчества Аввакума; там он пишет и свое «Житие», причем работает над ним в течение нескольких лет, создав по крайней мере четыре его редакции.

Но вот что существенно: все редакции заканчиваются примерно на одном и том же хронологическом отрезке жизни Аввакума — на времени заточения в Пустозерске. Далее следуют рассказы о судьбах его единомышленников. Композиционно они как бы замещают чудеса, описанием которых обычно заканчивались жития. Это сближение тем более имеет основание, что в этих рассказах явно присутствует и элемент чудесного. Чудеса совершаются, однако, не защитниками старого обряда, а с ними самими, во время их истязаний властями. Когда священнику Лазарю вырезали язык, он смог тем не менее говорить и без языка. Ему отсекли руку по запястье, но отсеченная рука, «на земле лежа, сложила сама перъсты по преданию»[172][13]. И Аввакум восклицает: «Мне-су и самому сие чюдно: бездушная одушевленных обличает!» Отрастает язык и у инока Епифания: сначала он говорил «гугниво» (картаво, неясно), потом обратился с мольбой к богоматери, «и показаны ему оба языка, московской и здешъней на воздухе; он же, един взяв, положил в рот свой и с тех мест [с той поры] стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся ва ръте».

Итак, Аввакум не продолжил рассказ о своей жизни. Его «Житие» не было мемуарами, над которыми можно продолжать работу до самой смерти: оно имело продуманную и законченную композицию, определяемую четко сформулированной в авторском сознании идеей произведения.

Но как же согласовать с этим утверждением те примеры описаний и бытовых наблюдений Аввакума, которые, казалось бы, являются излишними, уводящими в сторону от основной задачи «Жития»? Мы уже говорили о богатстве художнической натуры Аввакума, которая прорывалась сквозь им же самим установленные композиционные рамки произведения. В этой связи очень интересна предложенная исследовательницей аввакумовского творчества Н. С. Демковой интерпретация уже упоминавшегося нами видения «пестротами» украшенного корабля молодому Аввакуму. Это видение, пишет Н. С. Демкова, «имеет сокровенный смысл: это то разнообразие жизни, та пестрота, которую Аввакум встретит в мире, — «пестрота» добра и зла, красоты и грязи, высоких помыслов и слабостей плоти,

---

170[11] В диспуте принимали участие патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский.

171[12] Аввакум имеет в виду католиков вообще.

172[13] То есть сложилась в двуперстие, а не в триперстие, что требовалось реформой Никона.

через которые суждено пройти Аввакуму. Очень важно, что корабль этот прекрасен в восприятии Аввакума... Это признание «красоты» корабля, иначе говоря — жизни, уготованной Аввакуму, — выражение жизнелюбия, гуманистического пафоса сознания Аввакума, в то же время уже пустозерского узника, оглядывающегося на прожитую жизнь»[173][14].

Это жизнелюбие Аввакума и позволило его «Житию» выйти за рамки дидактической иллюстративности, позволило встать ему в ряд наивысших достижений древнерусской литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы завершили наш обзор литературы Древней Руси. Он был по необходимости краток и неполон: за пределами данного очерка остались такие шедевры древнерусской литературы, как «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о погибели Русской земли», «Моление» Даниила Заточника, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Горе-Злочастии» и многие другие литературные памятники.

Цель наша была иная: на некоторых, как нам казалось, наиболее характерных примерах проследить основные этапы развития древнерусской литературы, показать разнообразие (и своеобразие) литературных приемов, познакомить с произведениями разных жанров и стилей. Мы смогли наблюдать, как эволюционировали и постепенно приближались к нам, к литературе нового времени художественные приемы и сама система литературных жанров.

Если первоначально героем (не персонажем!) произведения могло быть только историческое лицо, то уже в XV в. героем смог стать не только купец Басарга, но и его семилетний сын, который накануне свершения своего подвига беззаботно скачет верхом на палочке. В XVII в. литературными героями станут и незадачливый купеческий отпрыск Савва Грудцын, и хитрая купеческая жена Татьяна Сутулова, и даже Ерш Ершович!

Если на протяжении многовекового развития литературы мы почти не встречаемся в ней с характерами (исключения типа матери Феодосия Печерского единичны), видим лишь персонажи, ведущие себя в каждый момент так, как следует вести себя человеку соответствующего социального ранга в данной ситуации, то уже с начала XVII в. писатели задумываются над сложностью человеческого характера и способами его изображения в литературе.

Постепенно совершенствуются приемы передачи прямой речи персонажей. Долгое время она условна. Условен (типично фольклорный, сказовый) ответ воинов Евпатия Коловрата Батыю, условны речи святых в житиях, условными книжными штампами изъясняются даже герои «Повести о Савве Грудцыне». Своим языком заговорит только Аввакум да на рубеже нового времени — Фрол Скобеев.

Древнерусская литература начинала свой путь в строгих шеренгах жанров, каждый жанр как воин в своем, подобающем ему мундире. А в XVII в. в произведениях уже размыты последние признаки старой жанровой системы, складывается новая система жанров, возникают поэзия, театр, сатира.

Медленно, словно опасаясь утратить нечто важное и значительное, расставалась литература с «историзмом», неохотно впускала в свое царство вымысел, освобождала простор для авторской самобытности и фантазии.

Если попытаться свести все эти тенденции литературного развития к краткой формулировке, то можно сказать, что литература двигалась от принуждения к свободе: от нормативных канонов к авторской индивидуальности, от прямолинейной дидактики к

173[14] Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума (творческая история произведения). Л., 1974, с. 144.

свободному сюжету, оставляющему читателя один на один с героями и ситуациями, от корпорации избранных героев к изображению всякого человека, могущего заслужить внимание и сочувственную заинтересованность автора и читателя. Литература постепенно расставалась со сковывающими ее цепями канонов. Но до достижений русской классической литературы XIX в. еще очень далеко — целое столетие успехов и неудач, заблуждений и находок, теоретических выкладок и творческих исканий.